

В. Л. Анзипіровъ.

„Крамольники“

(Хроника изъ радикальныхъ
кружковъ семидесятыхъ годовъ).



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., соб. домъ.
МОСКВА.—1907.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Вмѣсто предисловія	5
I. Вечеринка	9
II. „Четвертакъ“	14
III. Высылка со сходки	21
IV. Демонстрація	27
V. Охотнорядское побойще	33
VI. Сходка всѣхъ студентовъ	39
VII. Въ „конспиративной“	46
VIII. Убійство шпіона Рейнштейна	51
IX. „Почтальонъ“	59
X. Дѣло объ исполнительномъ комитетѣ	64
XI. Въ тюрьмѣ	70
XII. Всюду жизнь...	76
XIII. Допросы.	83
XIV. Свиданья.—Невѣста	87
XV. Подкопъ для освобожденія Натальи Армфельдъ	94
XVI. „Земля и Воля“	100
XVII. Желябовъ.—Гартманъ.—Столовая	106
XVIII. Арестъ типографіи.—Крашеный Щедринъ	111
XIX. Щедринъ въ Москвѣ. Убѣжище у полицейскаго	115
XX. Распадъ „Земли и Воли“. Народовольцы и чернопредѣльцы	122
XXI. Преображенскій.—Николай Андреевичъ.—Морякъ	127
XXII. Пожаръ въ академіи.—Повальный обыскъ.—Фаресовъ	134
XXIII. Планы освобожденія Преображенскаго. Высылка въ Курскъ	141
XXIV. Смерть Черкасова.—Дейчъ и Стефановичъ.—Помощь начальника секретнаго отдѣленія Гюрдана.	146
XXV. Дебогорій-Мокріевичъ въ Москвѣ	156
XXVI. Прасковья Ивановская.—Николай Саблинъ	162
XXVII. Въ разныя стороны	169

Вмѣсто предисловія.

Семидесятники теперь—это старая гвардія освободительнаго движенія, съ среднимъ возрастомъ въ 50—60 лѣтъ.

Они—носители революціонныхъ традицій и того славнаго, чистаго знамени „земли и воли“, которое нынѣ незапятнанное сплотило вокругъ себя почти весь составъ первыхъ народныхъ избранниковъ въ Думѣ.

Многіе не вынесли неравной борьбы, которая тогда 30—35 лѣтъ лишь возгоралась, окутанная дымкой народничества, идеологіи и поэзіи социализма.

Одни сошли въ могилу, надсадившись и подорвавъ здоровье въ тюрьмахъ и ссылкѣ; другіе не вынесли неправды жизни и покончили съ собой самоубійствомъ; были и спившіеся, опустившіеся, у которыхъ слишкомъ долго перетянутая въ молодости нервная система не выдержала подъ старость.

Семидесятые годы—огромная историческая эпоха, которая по своему значенію и вліянію на послѣдующія событія, на выработку идеаловъ и путей дѣйствія стоитъ ничуть не ниже эпохи великихъ реформъ начала освобожденія—60 годовъ.

Она ждетъ своихъ историковъ, философовъ и художниковъ для воспроизведенія ея во всей полнотѣ и оцѣнки той генетической связи, какъ съ 60 годами, такъ и съ послѣдующими движеніями: марксизма и социаль-демократіи, освободительнаго и социаль-революціоннаго.

Великимъ мастерамъ слова—Тургеневу и Достоевскому не удалось дать вѣрныя, охватывающія, правдивыя картины этого времени. Они стояли слишкомъ далеко отъ ядра радикальной жизни, были чужды ея людей и настроеній. Холодному анализу и синтезу Достоевскаго не доставало чувства одухотворявшаго людей кружковъ и вырабатывавшаго необычайные типы и характеры. Изящная, флейсовая кисть Тургенева была безсильна изобразить филигранныя, тонкія натуры поэтовъ борьбы и рѣзкіе духовные контрасты революціонныхъ титановъ.

А Л. Н. Толстой, уйдя въ поиски вѣчныхъ истинъ и протолковываніе ихъ человѣчеству, этими темами не интересовался, можетъ-быть, по невозможности сказать здѣсь „всю правду“.

„Малые богатыри“ сдѣлать это могли еще менѣе. Надо было время, чтобы имѣть возможность понять героевъ борьбы во весь ихъ огромный историческій ростъ, чтобы, отойдя отъ событій, ретроспективно и съ большей глубиной пониманія оцѣнить ихъ значеніе, роль и происхожденіе гигантовъ духа, которыми былъ богатъ любой процессъ, любая партія административно-выселяемыхъ.

И то, чего не сдѣлали великіе и малые современники, чтобы дать полную, исчерпывающую картину эпохи, приходится теперь, по отдѣльнымъ мозаикамъ, возстановлять немногимъ уцѣлѣвшимъ современникамъ.

Семидесятники уже быстро вымираютъ. Приходится торопиться, чтобы не оставить безъ вниманія и освѣщенія ни одного крупнаго событія ни одной крупной личности.

Петровская академія для центра Россіи сыграла большую революціонную и организаціонную роль.

На одномъ изъ обычныхъ годовыхъ собраній петровцевъ, въ Петербургѣ, въ память дня ея основанія (21 ноября), въ присутствіи бывшаго ея директора Ѳ. К. Арнольда, декана В. Т. Собичевскаго, профес-

соровъ: Н. А. Стебута, Г. Г. Густавсона, К. А. Вернера, чиновниковъ Министерства Земледѣлія: Калантара, Тропцкаго, Ефимова, Соковнина, и нѣсколькихъ десятковъ бывшихъ ея питомцевъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ въ Россіи, — возникла мысль собрать матеріалы объ общественной роли покойной alma mater.

Быль предложень даже планъ храненія ихъ до поры до времени за границей, при чемъ О. К. Арнольдъ предложилъ въ этомъ отношеніи свои услуги.

Но, какъ обычно у насъ бываетъ, это доброе намѣреніе въ широкихъ размѣрахъ не осуществилось, и смерть Ѳедора Карловича и К. А. Вернера разрушила и то небольшое, что было началось.

Поэтому, въ дополненіе къ уцѣлѣвшимъ заграничнымъ и офиціальнымъ архивамъ, которыми такъ блестяще пользуется молодой историческій журналъ „Былое“ и отдѣльные изслѣдователи, крайне необходимы всякія правдивыя лѣтописи уцѣлѣвшихъ современниковъ изъ эпохи 70-хъ годовъ.

Настоящіе очерки „Крамольники“ являются одной изъ попытокъ вложить въ этотъ живой архивъ личныя воспоминанія. Въ нихъ нѣтъ вымысла, воспроизведены, по возможности, правдиво событія, числа и всѣ фамиліи. Полубеллетристическая форма дана лишь для того, чтобы въ сухую хронику внести біеніе пульса той жизни, въ которой авторъ принималъ непосредственное, живое участіе. Это должно облегчить задачу настоящихъ художниковъ, когда они за нее возьмутся.



I.

Вечеринка.

Въ плохо освѣщенныхъ потасканныхъ залахъ съ претензіей на роскошь въ Москвѣ, на Покровкѣ, шла вечеринка.

Она была устроена подъ видомъ сговора въ помѣщеніи, отдающемся подъ купеческія свадьбы средней руки.

На самомъ же дѣлѣ московская, преимущественно радикальная молодежь собралась, чтобы отпраздновать оправданіе Вѣры Ивановны Засуличъ и попутно добыть кой-какія средства „на дѣло“.

Въ одной комнатѣ подъ надтреснутые звуки рояля нѣсколько паръ, еще не отрѣшившихся совсѣмъ отъ „буржуазныхъ привычекъ“, отплясывало кадрили и польки.

Мелькали сѣрыя и черныя блузы, косматыя гривы, синія, красныя и черныя кофточки, косоворотки съ кожаными ремнями стриженныхъ нигилистокъ, очки, мало-россійскіе и мордовскіе костюмы, изрѣдка—сюртуки, пиджаки, мундиры техниковъ и военныхъ врачей, высокіе сапоги петровцевъ и скромныя платья курсистокъ и учительницъ. Было также два офицера изъ „своихъ“, старавшихся ступшевываться.

Пахло дешевымъ табакомъ, потомъ, пивомъ и геранью—изъ единственной жилой комнаты.

Большинство толпилось группами около чайнаго буфета и оживленно бесѣдовало.

Изъ пивного и водочнаго буфета „мертвецкой“ неслись впережку — то унылые звуки „дубинушки“ „укажи мнѣ такую обитель“, то задорныя, вызывающія, хохлацкія „гричаники“.

— Довольно! Погодите! — прогремѣлъ чей-то молодой басъ. — Братцы, я хочу вамъ...

Но вокругъ стоялъ еще шумъ, и часть увлекшихся пѣвцовъ не умолкала.

— Тише, тише! — слышалось со всѣхъ сторонъ.

Тишина, прерываемая хлопаньемъ откупориваемаго пива, мало-по-малу водворялась.

— Братцы! Въ Петербургѣ судъ сдѣлалъ большое дѣло. Проснувшееся русское общество въ лицѣ присяжныхъ громко заявило, что нельзя безнаказанно глумиться надъ личностью...

Вокругъ оратора образовался плотный кружокъ. Собирались и изъ сосѣдняго чайнаго буфета.

— Вѣра Ивановна, какъ святая всенародная Немезида, подняла оружіе на зазнавшагося генерала Трепова, оскорбившаго студента Боголюбова. И присяжные сказали ей, что она была права...

Онъ остановился, переводя духъ, и поднялъ тонъ.

— Братцы! Судили не Засуличъ, а палачей, произволь... весь ужасный строй обмана и насилій... И — осудили его... Всѣ — присутствовавшіе на судѣ, публика, ожидавшая на улицѣ, весь интеллигентный Петербургъ сдѣлалъ Вѣрѣ Ивановнѣ шумную овацію. И это оправданіе политической мстительницы — отвѣтъ Россіи на преслѣдованіе убѣжденій, на насиліе совѣсти, свободы!.. Да здравствуетъ Вѣра Засуличъ!

Сотни мужскихъ и женскихъ голосовъ дружно подхватила: „Да здравствуетъ Засуличъ!“

Многіе зааплодировали. Оратора стали качать.

— Т-т-съ... тише... Ш-ш-шъ!..

Наступила благоговѣйная тишина.

— Она нуждается... Ей придется, вѣроятно, скрываться... Жандармы ловятъ ее, хотятъ задушить, — заявилъ чей-то молодой, „душевный“ теноръ.

— Складчину! Складчину! Собирайте...

Нѣсколько дѣвушекъ притащили изъ передней барашковую шапку, къ которой булавками прикрѣпили надпись: „Вѣрѣ Засуличъ“.

Въ нее стали класть деньги; многіе — послѣдній двугривенный.

Маленькій, суетливый господинъ съ рѣдкой рыжеватой бородкой подошелъ быстро къ сборщицамъ, бросилъ въ шапку однимъ изъ первыхъ трепеницу и пошелъ за ними вслѣдъ.

— Кто это такой? — спросило нѣсколько голосовъ.

— Рабочій, слесарь, приѣзжій, — отозвалась красивая, черноглазая Ольга Сеньковская, тоже провожавшая шапку.

— Его знаютъ?..

— Да, да... У него конспиративная для рабочихъ и... тайная типографія. — добавила она шопотомъ.

Сестры Добровѣровы — обязательные завсегдатаи всякихъ сборищъ — обступили „интереснаго рабочаго“, тотчасъ съ нимъ познакомились и заговорили.

— Охъ, ужъ этотъ гомологическій рядъ, — подмигнулъ косматый петровецъ съ густой бородой, Александръ Люцерновъ, — ве-е-ездѣ поспѣетъ.

Онъ слегка заикался.

— Чего онъ тебѣ мѣшаютъ? — заступился мягкимъ груднымъ баритономъ высокій и тощій его товарищъ — безусый, свѣтлый блондинъ Викторъ Пругавинъ.



В. И. Засуличъ.

— Не люблю я с-с-орокѣ этихъ... Не знаютъ ч-ч-человѣка, а—лѣзутъ...

— Почему ты ихъ „гомологическимъ рядомъ“ окрестишь?

— Ч-ч-чудакъ, а то какъ же: четыре сестры, всѣ на одно лицо, всѣ ст-р-риженныя, въ одной одеждѣ, к-какъ по одной м-модели, всегда вмѣстѣ... Только по росту и узна-а-аешь. Болтушки!

Это были тѣ самыя сестры, которыя потомъ стали знамениты своей трагической смертью вмѣстѣ съ копиями.

Онѣ не выдержали ударовъ жизни и самоубійствомъ отъ жаровни покончили ее. Удушили себя угаромъ.

— Н-н-надо про этого рабочаго разузнать хорошенько? Не н-н-нравятся мнѣ его глаза что-то, — не унимался Люцерновъ.

— Ну, у тебя вѣчныя подозрѣнія... Не хорошо такъ къ людямъ относиться! — поддержаль брата Алексѣй Пругавинъ — брюнетъ съ черными ласковыми глазами и впалой грудью, прозванный въ кружкѣ „исусикомъ“.

— Вы о чемъ, братцы? — серьезно и дѣловито обратился подошедшій подъ руку съ Александромъ Вальтеромъ Сергѣй Малышевъ.

Люцерновъ полушопотомъ сталъ излагать свои подозрѣнія по поводу этого рабочаго, втирающагося въ кружки:

— Ужъ больно онъ навязчивъ!

— Его и Короленко знаетъ, — успокаивалъ Малышевъ. — А справиться, впрочемъ, не мѣшаетъ...

— Зачѣмъ онъ скрываетъ свое еврейство? — вставилъ осторожный техникъ Фридензонъ.

Хоръ запѣлъ стройно и торжественно:

„Смѣло, друзья, не теряйте
Бодрость въ неравномъ бою,
Родину дружно спасайте,
Честь и свободу свою!“..

Танцы прекратились.

Всѣ собрались въ большую залу слушать Викторова—общаго любимца, слывшего за лучшаго оратора университета.

Онъ говорилъ замѣчательно много, плавно и красиво.

Восторженные слушатели горячо аплодировали.

И впереди всѣхъ высокая, стройная чернобровая барышня, въ которой по манерѣ себя держать сразу можно было узнать породистую аристократку,—Елизавета Петровна Дурново.

Викторовъ принималъ похвалы, какъ должное, и вытиралъ потъ съ открытаго лба красиваго смуглаго лица съ длинной шелковой бородой.

Таинственный рабочій уже горячо жалъ ему руки и увѣрялъ, что пропаганда въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ дѣлаетъ огромные успѣхи.

Подвыпившій краснощекий веселый студентъ Зиновьевъ, по прозвищу „Зинка“, предложилъ ему „дернуть по маленькой“ за рабочихъ.

Они отправились въ „мертвецкую“ обнявшись.

Люцерновъ не спускалъ съ него глазъ и что-то шепнулъ стоявшей рядомъ рослой и видной паннѣ Гранковской, которая многозначительно кивнула головой.

Этотъ рабочій былъ Николай Васильевичъ Рейнштейнъ, извѣстный сыщикъ, предавшій петербургскую рабочую организацію и нелегальную рабочую газету, которому было поручено открыть тайную типографію, пробравшись въ петербургскіе кружки чрезъ московскіе, державшіеся тогда болѣе разгильдяйски.

Благодаря его содѣйствію, между прочимъ, В. Г. Короленко попалъ въ ссылку, а Россія получила „Сонъ Макара“.



II.

„Четвертакъ“.

Центромъ московскихъ радикальныхъ кружковъ въ 60-е и 70-е годы была Петровская академія.

Многое этому содѣйствовало.

Здѣсь въ одномъ изъ гротовъ былъ убитъ Ивановъ, по подозрѣнію въ предательствѣ, и создалось громкое, на шумѣвшее на всю Россію, нечаевское дѣло, давшее Разумовскому извѣстность.

Правда, что тогда академіи еще не существовало, а было своеобразное „высшее учебное учрежденіе“, созданное по мысли знаменитаго Муравьева-Вѣшателя, для обученія дворянскихъ недорослей и вообще помѣщиковъ — агрономіи.

Она напоминала Запорожскую Сѣчь.

Сюда могъ приходить старъ и младъ слушать курсы, какіе кому нравятся.

Никакихъ экзаменовъ не полагалось. Аттестатовъ — тоже. Но любители могли подвергнуть себя испытаніямъ и получали предметныя свидѣтельства, не давашія, однако, никакихъ правъ.

Роскошный старинный паркъ при дворцѣ бывшаго графа Разумовскаго (вѣнчаннаго супруга императрицы Елисаветы), съ цвѣтниками, оранжереями, искусственными Альпами, прудами и бесѣдками, напоминалъ просторъ и затѣйливость пышной помѣщицѣй усадьбы „добраго стараго времени“.

Разстилавшіяся же вокругъ поля и довольно большой лѣсъ, примыкавшій къ парку, увеличивали иллюзію деревенской обстановки, въ которой выростало большинство стекавшейся сюда отовсюду молодежи.

„Петровку“ любили какъ лучшее помѣщичье „гнѣздо“ подъ самой Москвой.



Петровская академія со стороны сада.

Надѣло—группа: Черкасскъ, Пругавинъ, Вернеръ, Ананимовъ; посрединѣ—Малышевъ, Державинъ; направо—Трофимовъ, Фатышевскій.

Но не одни помѣщики съѣзжались въ Петровско-Разумовское, чтобы научиться при помощи науки возмѣщать выгоды отъ потерянныхъ даровыхъ рабочихъ рукъ крѣпостныхъ.

Сюда влекло и тѣхъ, кто жаждалъ получить основательное знакомство съ естественными науками, но не могъ поступить въ университетъ, не имѣя аттестата зрѣлости.

Шли также учителя-фанатики и семинаристы, не пожелавшіе надѣть поповскую рясу, въ надеждѣ стать распространителями знаній по сельскому хозяйству, столь нужныхъ деревнѣ.

Пріѣзжали отдохнуть въ новой, живой, бодрой средѣ разные подбитые жизнью: бывшіе офицеры, чиновники, неудавшіеся семьяне, чтобы сдѣлать въ жизни переломъ.

Ѣхали подальше отъ родительскихъ глазъ разные шелопаи и прожигатели жизни, которые подъ предлогомъ продолженія образованія могли вытягивать изъ отчихъ семей деньги неопредѣленное время.

Скопилось не мало и сознательной молодежи, собиравшейся сюда не только для пополненія образованія, но и съ опредѣленной цѣлью—организациі кружковъ и отдѣловъ зарождавшихся революціонныхъ партій.

Позже, когда „высшее учрежденіе“ (1871 г.) было переименовано въ Петровскую академію, по шаблону и съ правами другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, особый типъ „петровца“ все же остался.

Петровская академія не давала ни чиновной ни денежной карьеры.

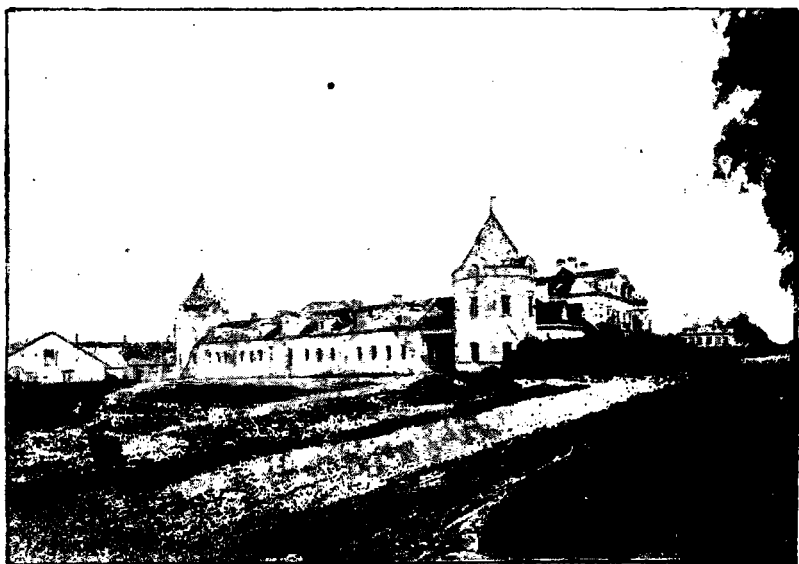
Лучшимъ въ ней элементомъ были тѣ изъ окончившихъ среднюю школу, которые шли сюда или ради ея революціонной репутаціи, или для изученія естественно-историческихъ и общественныхъ наукъ — совмѣщенія, весьма выгодно отличавшаго академію отъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній и факультетовъ.

Влекла въ „Петровку“ и большая сплоченность студентовъ, жившихъ семьями, какъ бы на островѣ, въ 10 верстахъ отъ Москвы, съ которой тогда было единственное сообщеніе—отвратительныя линейки, запряженныя клячами, тащившіяся до Страстного монастыря больше часу.

Общественность петровцевъ, ихъ сомкнутость, товарищескій духъ, бóльшая начитанность, объясняемая под-

боромъ поступавшихъ, отсутствіемъ какихъ-либо соблазновъ и развлеченій въ Петровско-Разумовскомъ, — выдѣляли ихъ отъ студентовъ другихъ заведеній.

А значительное число бородатыхъ, пожившихъ, иногда кончившихъ уже другія заведенія или послужившихъ, давало петровцамъ вѣсъ и солидность, особенно въ связи



Ферма академіи.

съ ореоломъ революціонеровъ - народниковъ, которыми многіе старались быть и по костюмамъ, близкимъ къ рабочимъ.

Всѣ студенты дѣлились на кружки, группировавшіеся чрезъ депутатовъ около нелегальныхъ студенческой кассы и библіотеки.

Но истиннымъ заправиломъ былъ не совѣтъ этихъ кассовыхъ и библіотечныхъ депутатовъ, а стоявшій внѣ студенческой организаціи кружокъ 25, прозванный *четвертакомъ*.

Онъ въ лицѣ своихъ членовъ имѣлъ настолько сильное нравственное вліяніе на товарищей, что могъ проводить на сходкахъ любое рѣшеніе, отражавшееся и на другія московскія заведенія.

Въ 1877 году въ „четвертакъ“ входили: Сокольскій, Флоровскій, Алексѣй и Викторъ Пругавины, Любовъ, Личковъ, Сергѣй Малышевъ, Ортынский, Вышинскій, Шрамковъ, Муромцевъ, Зиновьевъ, Люцерновъ, Ухачъ-Огоровичъ, Станевичъ, Бенедиктовъ, Гриневицкій, Анзимировъ, Черкасовъ, Ламони, Вальтеръ, Ипполитъ и Иванъ Морозы, Емановъ, Суринъ, Трофимовъ.

Кружокъ имѣлъ сношенія со всѣми московскими и многими иногородными организаціями, имѣлъ свою кассу и уставъ, хотя и не писанный.

Къ нему обращались пріѣзжіе революціонеры: начиная съ скромнаго почтальона Іохельсона, развившаго нелегальщину, и такіе „генералы“ отъ революціи, какъ Преображенскій („юристъ“), Желябовъ, Дейчъ, Стефановичъ, Клеменцъ, Левъ Тихомировъ, Морозовъ, Плехановъ, Аксельроде, Гартманъ, А. Михайловъ, В. Н. Фигнеръ и т. д.

Въ этомъ же „четвертакъ“ В. Г. Короленко, изгнанный изъ академіи вмѣстѣ съ В. Н. Григорьевымъ и К. А. Вернеромъ, читалъ свои первыя произведенія—и очень близко къ сердцу принималъ отзывы товарищей, убѣждавшихъ его „продолжать писать“.

Кружокъ имѣлъ связи съ рабочими фабрики Іокиша и съ крестьянами окружающихъ деревень, занимаясь исключительно мирной пропагандой социализма.

Въ одной изъ нихъ—селѣ Владыкинѣ—жилъ замѣчательный крестьянинъ Филиппъ Михайлычъ.

Онъ былъ „спропагандированъ“ самыми первыми кружками, еще во времена Нечаева.

Тошій, высокій, съ рѣдкой бородкой-мочалкой, онъ и смолоду имѣлъ какой-то переломленный, нагнутый впередъ видъ, точно собирався взлетѣть.

Филиппъ по справедливости могъ считаться Несторомъ революціи, ибо за много лѣтъ зналъ рѣшительно всѣхъ и все.

Къ „своимъ“ онъ относился любовно, нѣжно и, не стѣняясь, одолжалъ по-товарищески—старыя брюки, сапоги, деньги, являлся перевозить всѣхъ радикаловъ на новыя квартиры, снабжалъ неимущихъ молокомъ, масломъ и творогомъ, устраивалъ складчины на покупку себѣ коровы и ремонтъ избенки.

И все это просто, естественно, на правахъ общаго пріятеля.

У себя въ деревнѣ Филиппъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Держался замкнуто, насторожѣ, по-сектантски.

Вообще болѣе неудачнаго посредника для пропаганды трудно было выбрать: за 40 лѣтъ якшанія съ революціонерами онъ не собрался даже выучиться читать и писать какъ слѣдуетъ, предпочитая всѣ новинки нелегальной литературы слушать „съ голоса“.

Но мыслилъ онъ тонко и научился разбираться даже въ весьма запутанныхъ вопросахъ.

Когда кто-нибудь изъ „своихъ“ хотѣлъ подтрунить надъ нимъ, то неизмѣнно спрашивалъ: какъ идетъ „дѣло“ въ его селѣ.

— Какое дѣло!.. Плохо...

— Отчего же?—наивничалъ спрашивающій, еле сдерживая смѣхъ.

— Кулаки у насъ... Самъ знаешь... Смущаютъ... Ихъ все слушаютъ... Подольщаются на случай...

— Почему же не тебя?

— Интересы нѣтъ... Кабы у меня деньги... А то—такой же мужикъ. „Ты бы, говорятъ, сперва около себя поправилъ—избенку, лошадь, телѣгу, а потомъ и Россію бы началъ улучшать“... Зубоскалы подмосковныя... Смѣются... Ну—ихъ!..

И онъ отмахивался, какъ отъ докучливой осенней мухи.

Дѣтей своихъ, однако, онъ учить, горячо любить и воспитывать серьезно.

Позже, много лѣтъ спустя, когда его выслали въ Вологодскую губернію, а я жилъ въ Рязани и служилъ въ земствѣ, вдругъ является:

— Филиппъ Михайлычъ, — какими судьбами?

— Отпросился по грибы, да и убѣгъ... Соскучился по своимъ больно...

— Ну-у?! А какъ хватятся?

— Скажу, заблудился, молъ, проплуталъ... Отъ тебя думаю къ Сергѣю (Малышеву) въ Саратовъ сходить.

И онъ, дѣйствительно, „ходилъ“ за тысячи верстъ, такъ какъ для себя, „на баловство“, считалъ невозможнымъ тратить копейку, которая могла бы пойти „на дѣло“.

Въ этомъ тщедушномъ и простоватомъ на видъ крестьянинѣ, бывшемъ въ молодости ломовикомъ, жилъ сильный духъ.

И никакая опасность его не могла смутить.



III.

Высылка со сходки.

Въ Кіевѣ неизвѣстный стрѣлялъ въ возвращавшагося домой прокурора Котляревскаго.

Было очевидно, что это новичокъ-партизанъ: револьверъ былъ такъ слабъ, что пуля засѣла въ елотъ шубы.

Начались обыски. У нѣсколькихъ студентовъ нашли револьверы. И хотя калибръ ихъ не подходилъ къ найденной пулѣ—ихъ препроводили въ тюрьму, какъ предполагаемыхъ покусителей на убійство. Грозилъ серьезная кара.

Студенты, разумѣется, заступились за товарищей. Собрались на сходку. Пригласили ректора и стали требовать освобожденія невинно-арестованныхъ.

Переговоры ни къ чему не привели.

Чтобы „образумить“ волнующуюся молодежь, ее рѣшили выслать скопомъ, прямо со сходки, въ разные пункты сѣверныхъ губерній „поохладиться“, какъ шутилъ губернаторъ.

Немедленно, кто въ чемъ былъ, они были арестованы и помѣщены въ тюрьму. Первую партію въ 50 человѣкъ, за недостаткомъ мѣста, отправили въ ссылку въ тотъ же день.

Въ Кіевѣ въ началѣ апрѣля стояла, какъ обычно, чудная, лѣтняя погода.

Всѣ студенты пришли на сходку, разумѣется, въ однихъ пиджакахъ, тужуркахъ или лѣтнихъ пальто.

Получить болѣе теплой одежды было нельзя, ибо часть ея по обыкновенію была уже заложена, а у кого и уцѣлѣла, то хранилась дома или у знакомыхъ; добыть ее передъ высылкой не было возможности.

Приходилось ѣхать на сѣверъ: въ Олонецкую, Вологодскую, Архангельскую и Вятскую губерніи, гдѣ лежалъ еще снѣгъ, безъ денегъ (у кого изъ студентовъ онѣ имѣются!), безъ бѣлья, книгъ и одежды...

И притомъ наканунѣ экзаменовъ изъ - за такихъ пустяковъ, какъ мирное заступничество за невинно-схваченныхъ товарищей.

Случайно уцѣлѣвшіе дали знать объ участи высылаемыхъ въ Москву во всѣ учебныя заведенія, прося о поддержкѣ.

Въ „Петровку“ телеграмма пришла вечеромъ, наканунѣ утра, когда поѣздъ съ этими арестантами - студентами долженъ былъ прибыть на Курскій вокзалъ.

„Четвертакъ“ тотчасъ же собрался въ наличномъ составѣ членовъ и послѣ краткаго совѣщанія рѣшилъ: 1) протестовать противъ насилія, 2) рано утромъ слѣдующаго дня созвать обще-студенческую сходку, чтобы выбрать форму протеста, 3) немедленно начать сборъ денегъ, вещей и бѣлья высылаемымъ, 4) извѣстить о постановленіи всѣ другія высшія учебныя заведенія и кружки.

Я и мой товарищъ-сибирякъ Черкасовъ были наряжены на сборы пожертвованій съ тѣмъ, чтобы все собранное, вмѣстѣ съ ассигновкой около сотни рублей изъ кассы кружка, рано утромъ, не дожидаясь конца сходки, везти прямо на Курскій вокзалъ и передать кіевлянамъ во что бы то ни стало.

Товарищи признавали за нами дипломатическіе таланты для переговоровъ съ разнымъ начальствомъ. Мы имѣли приличные костюмы. Я владѣлъ довольно хорошо французскимъ языкомъ, Черкасовъ имѣлъ внушительную бороду и золотыя очки. Оба умѣли постоять за себя и не лѣзли въ карманъ за словомъ.

Поэтому такіа щекотливыя порученія, какъ бесѣда съ жандармскимъ, полицейскимъ или академическимъ начальствомъ, были для насъ обычными порученіями.

Мы гордились своимъ „положеніемъ“ и репутаціей больше, чѣмъ если бы состояли посланниками въ Англіи или Германіи.

До глубокой ночи таскались мы по квартирамъ студентовъ, младшихъ преподавателей и тѣхъ изъ профессоровъ, которыхъ считали достойными обращенія къ нимъ.

За нами ѣздилъ извозчикъ, на которомъ складывался въ узлы отдаваемый скарбъ—бѣлье, одежда, шапки, валенки, одѣяла и т. п.

Большинство—само неимущее — дѣлилось, конечно, только деньгами: двугривенными, полтинниками, рѣдко рублями.

Лишь трое дали больше: Докукинъ, Неплюевъ и Алехинъ.

Докукинъ, только что вернувшійся изъ Черногоріи, куда ѣздилъ добровольцемъ, застрѣлилъ на-дняхъ нечаянно, показывая свой боевой револьверъ, близкаго товарища Беневоленкова.

Онъ страшно мучился угрызеніями совѣсти и до того обрадовался возможности хоть маленькаго искупленія, что отдавалъ намъ не только всю свою наличность, но и всѣ золотыя вещи своей маленькой изящной жѣнки.

Н. Н. Неплюевъ (впослѣдствіи основатель извѣстныхъ „братствъ“ въ Черниговской губерніи), бывшій атташе датскаго посольства, жилъ въ хорошей квартирѣ, обставленной по-барски, съ лакеемъ. Онъ заставилъ насъ долго ждать. Мы готовы были уже наговорить ему всякихъ рѣзкостей, когда онъ вышелъ, наконецъ, и смущенно передалъ радужную.

Разумѣется, мы были обезоружены.

Алехинъ, хотя жилъ весьма скромно въ номерахъ и обѣдалъ въ кухмистерской, но уже тогда тратилъ зна-

чительныя средства на всякіе виды помощи, а также подготовлялъ устройство задуманной имъ интеллигентной колоніи-скита въ Смоленской губ.

Онъ былъ искренно огорченъ, что его застали „безъ денегъ“ и очень извинялся, отдавая двѣ четвертныхъ.

Грязь на Выселкахъ Петровско-Разумовскаго стояла невылазная.

Намъ за нѣсколько часовъ пришлось сотни разъ повторять одинъ и тотъ же рассказъ, возиться съ завязываніемъ вещей, укладкой ихъ на извозчика и нигдѣ, за недостаткомъ времени, не присѣсть.

Устали мы страшно, и въ 12 час. ночи, внося въ „казенку“ (академическіе номера) огромные узлы, ногъ подъ собой не чувствовали.

Разумѣется, заснули, какъ мертвые, и едва не проспали лишнее время утромъ.

Оба мы были безъ денегъ.

Чтобы внести и свою лепту въ складчину и на извозчиковъ, намъ приходилось сперва заѣхать въ ссудную кассу, куда я отвезъ свой цѣнный кинжалъ въ серебряной оправѣ—подарокъ дяди, а Черкасовъ—шубу.

На вокзалъ мы прибыли, однако, за часъ до поѣзда и тотчасъ вступили въ дипломатическія бесѣды со сторожами, жандармами и дежурнымъ по станціи.

Передача вещей арестованнымъ (мы выдали себя за родственниковъ оказалась весьма сложной процедурой.

— Заявите въ жандармское управленіе—тамъ вамъ скажутъ и примутъ, — внушительно, но ласково объяснялъ вахмистръ.

— А здѣсь?

— Никакъ нельзя.

— Но можетъ быть чрезъ офицера можно?

— Ихъ благородіе сегодня не будутъ...

— ? ? ?

На вокзалъ и на платформу понемногу прибывали знакомые студенты изъ разныхъ учебныхъ заведеній. Насъ это удивило.

Очевидно, что-то готовилось.

Начальство засуетилось.

Сознавая себя исполнителями важнаго порученія, мы и виду не подавали, что знаемъ кого-либо. Здоровались одними глазами.

Кромѣ радикаловъ, подходили и „умѣренные“.

Изъ „Петровки“ прибыли даже такіе осторожные, какъ Лазаревъ и Ефимовъ.

Наконецъ подошли и наши — весь „четвертакъ“ въ полномъ составѣ.

Собрались и нѣкоторые рабочіе.

Образовалась толпа человѣкъ до 500.

Малышевъ успѣлъ шепнуть: „Будетъ демонстрація, пройдемъ по всему городу, чтобы обратить на вопіющее дѣло вниманіе общества“.

Въ сосѣдніе дворы подходили партіи городскихъ. Подъѣхалъ на рысяхъ взводъ жандармовъ, а въ собственныхъ пролеткахъ — мѣстный полицмейстеръ и приставъ.

На дебаркадерѣ выстраивалась конвойная команда, прибывшая принять арестантовъ.

Показалось нѣсколько десятковъ пустыхъ каретъ, очевидно, для нихъ же.

Студенчество и рабочіе плотной стѣной окружали полицію и конвойныхъ.

Къ станціи медленно подходилъ поѣздъ...

„Наши“ успѣли уже переговорить съ полицмейстеромъ о цѣли прихода. Онъ волновался и, видимо, не зналъ, на что рѣшиться.

— Господа! — неожиданно обратился онъ къ толпѣ. — Даете ли слово не дѣлать попытокъ къ освобожденію арестованныхъ!?

— Конечно! Мы и не думали!.. Разумѣется! Даемъ! Даемъ! — слышалось въ толпѣ.

— Въ такомъ случаѣ... расходитесь! — выпалилъ онъ ни съ того ни съ сего.

— Мы желаемъ вещи передать, деньги... Пожать руки товарищамъ... Брата поцѣловать... — понеслись восклицанія.

Поѣздъ остановился. Хлынувшая публика наполнила дебаркадеръ. Оцѣпить вагонъ было поздно. Изъ него уже выходили подъ конвоемъ жандармовъ кучками арестованные.

Толпа сразу рванулась; конвойные очутились среди насъ, блѣдные, дрожащіе, не знающіе, что дѣлать...

Мы бросились обниматься съ прибывшими, жали руки, передавали наспѣхъ всѣ наши богатства.

Нѣкоторые изъ насъ тутъ же снимали свои пальто и надѣвали на кievлянъ.

Дружное „ура“, подхваченное зѣваками съ улицы, наполнило дебаркадеръ.

Полицмейстеръ, взобравшись на какую-то тачку, сдѣлалъ жестъ о желаніи говорить.

Тишина понемногу возстановилась.

— Вы дали слово, господа, и я вамъ вѣрю... Въ противномъ случаѣ...

Загремѣло новое „ура“. Толпа и конвойные перемѣшались. Арестованные на ходу одѣвались, распредѣляли вещи, деньги, и вся масса двигалась по боковому выходу вокзала къ каретамъ.

Жандармы въ каскахъ величественно высились надъ толпой, ничего не предпринимая.

Спрятанные городовые не показывались.

Арестованные сами разсаживались въ кареты подвое и потрое, по своему вкусу.

По бокамъ становились конвойные и студенты.

Процессія двинулась.



IV.

Демонстрація.

Медленно гуськомъ выѣзжали кареты съ высылаемыми кіевскими студентами. Со двора вокзала у воротъ невиданную процессію встрѣтила толпа рабочихъ.

Было около 11 ч. утра.

Кто-то крикнулъ зычно и повелительно:

— Шапки долой!

Всѣ шедшіе вдоль линіи каретъ и сзади: студенты, рабочіе, прохожіе, извозчики, сторожа, начали поспѣшно обнажать головы.

— Держаться плотнѣе. Братцы, присоединяйтесь! — обратился тотъ же невидимый за толпой голосъ къ рабочимъ.

Они, оказывается, уже знали, въ чемъ дѣло, и пристали къ демонстраціи въ хвостѣ ея, какъ только проѣхали всѣ кареты.

Изъ раскрытыхъ оконъ каретъ арестованные высовывали головы, махали шапками и платками и безпрепятственно переговаривались съ провожавшей братіей.

Усѣвшіеся съ ними на переднія мѣста жандармы не препятствовали.

Оправившіеся отъ испуга солдаты конвойной команды съ ружьями на плечо апатично шагали по бокамъ и, несмотря на сверкавшіе штыки, имѣли жалкій, совсѣмъ не воинственный видъ.

По обѣ стороны процессіи „наши“ шмыгали взадъ и впередъ, передавая распоряженія „штаба“, приглашая встрѣчныхъ снимать шапки и наскоро объясняя всѣмъ, кого везутъ, за что и почему надо имъ выразить почтеніе.

Подвижной, живой блондинъ Личковъ былъ въ своей стихіи:

— Братцы, — обратился онъ къ группѣ плотниковъ, въ фартукахъ, шедшихъ съ работы обѣдать, — везутъ пострадавшихъ за правду. Они, да и мы всѣ, за васъ стоимъ, за народъ... Снимайте шапки! Пусть правительство знаетъ, какъ много у насъ друзей!

„Братцы“ недоумѣвали, но картузы все же снимали.

— Негодяи, охальники, шематоны, проклятые студенты! — трещала какая-то разбитная, смазливая горничная, выскочившая изъ калитки. — Барыню нашу напукали... Не отдышитесь... Спиртъ все нюхаетъ... — обратилась она уже почти слезливо къ двумъ дворникамъ, стоявшимъ тоже безъ шапокъ, ожидая отъ нихъ участія къ страхамъ своей пугливой барыни.

Алексѣй Пругавинъ душевнымъ, теплымъ голосомъ горячо объяснялъ шедшей съ воспитателемъ группѣ кадетовъ подростковъ цѣль демонстраціи.

У ребятъ заиграли въ глазахъ добрые и лукавые огоньки.

Они принялись махать кепями и бросать ихъ въ воздухъ.

Около десятка тоненькими голосками пробовали было крикнуть „ура“, но оборвались, не поддержанные товарищами.

Воспитатель своей форменной фуражки съ краснымъ околышемъ, однако, не снялъ и суетился между своими питомцами, заставляя и ихъ надѣть кепи.

Нѣсколько оборонило ихъ и искало по панели.

Зѣваки и опоздавшіе на демонстрацію „свои“ постепенно присоединялись къ толпѣ.

Она становилась все гуще и растянулась беспорядочной колышавшейся живой змѣей по узкимъ московскимъ улицамъ на полверсты.

Встрѣчающіяся конки останавливались безпрекословно, и сидѣвшіе наверху снимали шапки.

Какой-то отставной генералъ, приподнявъ фуражку, торопливо прекрестился и быстрымъ жестомъ рукавомъ смахнулъ высунувшуюся, помимо воли, слезинку.

Вспомнился, видно, какой-нибудь близкій... Можетъ-быть, сынъ...

Встрѣчная старушка качала головой и, считая длинный рядъ каретъ, причитала:

— Батюшки мои, сколько несчастныхъ-то!.. Вотъ, чай, матери-то плачутъ!.. Ой-ой-ой! Господи Іисусе Христе, до чего дожили!

Она обращалась по очереди къ провожающимъ, предлагая милостыню:

— Моя жертва отъ сердца,—увѣщавала она, крестя вслѣдъ арестованныхъ.

Подъ-ручку съ элегантною дамой шелъ навстрѣчу полковникъ въ адъютантскомъ мундирѣ и почтительно снялъ безъ приглашенія фуражку.

— Что ты дѣлаешь?—остановила его по-французски спутница.—Вѣдь везутъ арестованныхъ!



Ссылные въ Уржумъ: Лиссовскій; Мурзаянъ, Шарко, Деревщиковъ.

— Нѣтъ, это студенты, душечка,— мягко, но твердо возразилъ онъ.

И продолжалъ стоять съ обнаженной головой, пока тихо проѣзжали подвижныя тюрьмы-кареты, при явномъ недовольствѣ торопившей его „куколки“.

Изъ-за хлопьевъ сѣрыхъ тучъ выглянуло солнышко. Острія штыковъ брызнули холодными искрами.

Демонстрація поворачивала къ Театральной площади Охотному ряду и Моховой.

— Везутъ къ Колымажному двору,— передавали одинъ другому извѣстіе, добытое впереди процессіи развѣдчиками.

— Проводить до конца, до самой тюрьмы, никому не расходиться!—летѣлъ по толпѣ приказъ.

Но толпа демонстрантовъ уже рѣдѣла.

Рабочимъ, какъ оказалось потомъ, не объяснили, какъ слѣдуетъ, цѣли демонстраціи, созрѣвшей быстро безъ выработаннаго плана и совмѣстнаго обсужденія.

Проводивъ нѣсколько улицъ, они поодинокѣ шли каждый по своимъ дѣламъ.

Изъ студентовъ университета почти никого не было, они еще обсуждали о демонстраціи на сходкѣ.

Зѣвакамъ надоѣло „мять ноги попусту“, такъ какъ въ движеніи безъ шапокъ, безъ криковъ, безъ скакдаловъ или музыки не было ничего интереснаго — „подъемнаго“.

Даже среди студентовъ-петровцевъ, техникувъ и мажениковъ, стоящихъ внѣ организаціи, только „сочувствующихъ“, шли разговоры, что „довольно“, молъ: оканчавъ честь, проводили—и по домамъ“.

Въ массѣ чувствовалась апатія и усталость.

Погода, холодная и сырая, тоже мало располагала къ скучной прогулкѣ, казавшейся безцѣльной.

Одушевленіе непривычнымъ дѣломъ, особенно въ виду полнаго отсутствія какихъ-либо препятствій и явной цѣли его, замѣтно проходило.

Полиція—какъ въ воду канула.

Даже на постахъ не видно было нигдѣ обычныхъ городскихъ.

У Лубянского проѣзда и особенно на Театральной площади въ нашу толпу стали вмѣшиваться какіе-то таинственные незнакомцы.

— „Гороховыя пальто“,—пронесся шопотъ.

Но они вели себя смирно, въ разговоры не вступали и лишь старались держаться поближе къ конвойнымъ.

Явившіеся сыщики были все-таки развлеченіемъ.

У нихъ спрашивали фамиліи, изъ какого они „заведенія“, кто ихъ приглашалъ и т. д.

Нѣкоторые огрызались. Другіе молча и покорно сносили остроты.

Благодаря порѣдѣвшей толпѣ, можно было замѣтить, что среди насъ плетется нѣсколько женщинъ изъ обычныхъ завсегдатайницъ вечеринокъ и общихъ сходокъ.

Онѣ замѣтно устали и отставали.

— Что! кишечки ослабѣли? — добродушно шутилъ Люцерновъ.—Вы бы на извозчика присѣли.

Но и извозчиковъ не было ни одного.

Очевидно, что-то готовилось. Но что именно—никто не давалъ себѣ отчета.

Было лишь ясно, что мы приближаемся къ опасности, къ засадѣ, можетъ-быть, къ кавалерійской атакѣ или чему-нибудь въ этомъ родѣ.

Это сознаніе сразу подняло упавшіе нервы. Уходить при такихъ условіяхъ и оставлять на произволъ судьбы товарищей казалось преступленіемъ.

Не доходя до Охотнаго, нѣсколько десятковъ мальчишекъ изъ служащихъ при лавкахъ стали „задирать“ хвостъ толпы.

Толкаются. Щипнеть и убѣжить. Пробуетъ въ лицо плюнуть. Ругаются, языки высовываютъ, носы показываютъ...

Такъ раззадоривали въ тѣ времена борцовъ, сходящихся стѣна на стѣну за Москвой-рѣкой на „удалые“ кулачные бои.

За мальчишками стали быстро подходить группы взрослыхъ охотнорядцевъ, нѣкоторые—въ чемъ были въ мясной: въ фартукахъ и съ ножами, другіе—въ чуйкахъ и пиджакахъ.

„Гороховыя пальто“ смѣшались съ ними и, видимо, руководили военными дѣйствіями, стараясь хвостъ демонстраціи отдѣлать отъ каретъ живымъ кольцомъ.

Подготавлилась нелѣпая и безцѣльная битва, ибо „непріятеля“ въ сущности не было, а ограждать арестованныхъ отъ насъ не было ни малѣйшей надобности.

Мальчишки раззадоривали все усиленнѣе, стараясь вызвать какую-нибудь отвѣтную брань или пинокъ, чтобы создать *casus belli*.

Нападавшіе, видимо, колебались, боясь встрѣтить вооруженный отпоръ, и „разогрѣвали“ себя, — условіе, необходимое для стремительныхъ дѣйствій „холоднымъ“ оружіемъ.



V.

Охотнорядское побоище.

Желая сосредоточить силы для отпора, мы дали приказъ растянувшимся демонстрантамъ остановиться и собраться въ хвостѣ процессіи.

Сильные составили арьергардъ противъ охотнорядцевъ, прикрывая собою отступление болѣе слабыхъ и женщинъ.

Этотъ маневръ предупредилъ катастрофу съ сотнями жертвъ, которыя были бы неизбѣжны при отсутствіи крѣпкаго сопротивленія.

Охотнорядцы напирали. Передовые мальчишки становились все заносчивѣе и смѣлѣе.

Одинъ изъ наиболѣе рослыхъ шибко ударилъ Ортынского (петровца)—крѣпкаго брюнета съ орлинымъ носомъ и сросшимися густыми бровями—по шеѣ.

Онъ обернулся и хватилъ его въ отвѣтъ палкой по спинѣ.

Это было сигналомъ къ общей атакѣ.

Охотнорядцы съ разныхъ сторонъ бросились на студентовъ, стараясь выхватывать изъ плотной кучки по одному и расправляться затѣмъ скопомъ.

Нѣсколько „слабыхъ духомъ“ и „благоразумныхъ“ изъ демонстрантовъ успѣли ускользнуть и удирали по Тверской.

Между ними рослый армянинъ Лазаревъ (петровецъ), лѣзшій одно время въ вожаки „либераловъ“; Иннокентій

Ефимовъ, любившій щеголять витіеватыми фразами и прозванный за эту черту „Кешей Златоустомъ“ (вполсѣдствіи вице-директоръ департамента земледѣлія).

Злоба на нихъ беретъ! Ихъ ругаютъ вслѣдъ:

— Удираютъ въ такую рѣшительную минуту...

Совсѣмъ не по обстановкѣ для юмора мелькаетъ въ головахъ сарказмъ по ихъ адресу:

Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во-время прозрѣлъ...

Да, во-время: на самомъ полѣ битвы!

Удары сыплются одинъ за другимъ, больше наотмашь, отъ всего сердца.

„Наши“ энергично отвѣчаютъ...

Особенно сокрушительны боксы...

Получившій оретъ благимъ матомъ и быстро выходитъ изъ строя.

Драка идетъ безъ всякаго плана.

Здоровый краснощекій Вышинскій работаетъ направо и налѣво палкой, пробиваясь къ какой-то квартирѣ.

Онъ моментально вскакиваетъ въ подъѣздъ, нервно дергаетъ лѣвой рукой за ручку звонка, а правой продолжаетъ отбиваться, свирѣпо замахиваясь на нападающихъ.

Но на него насаждаютъ все сильнѣе...

Наконецъ дверь открывается. Мелькаетъ фигура горничной въ передникъ и чепецъ. Онъ быстро отстраняетъ ее рукой, захлопываетъ дверь и бѣжитъ чрезъ парадныя комнаты, на бѣгу спрашивая у растерявшихся хозяевъ о выходѣ на черный ходъ и извиняясь.

Парадную дверь, видимо, успѣли защелкнуть. Ее колотятъ кулаками осаждающіе, обиженные ускользнувшей жертвой.

Тоже отбитый отъ своихъ „филинъ“ — Ортинскій, притиснутый въ уголъ, образуемый выступомъ дома, наноситъ ожесточенные удары стальной тростью.

Энергичные глаза сверкают гнѣвомъ.

Послѣ cadaго взмаха кто-то дико визжитъ, и нападающіе отскакиваютъ...

Спокойный, флегматическій на видъ петровецъ Любовъ прижать къ стѣнѣ и отбивается толстѣйшей самодѣльной дубиной, изрыгая ругательства.

Мясники ожесточаются. Въ воздухѣ сверкаютъ ножи... Пахнетъ кровью. Опасность усиливается...

Вокругъ по Моховой — ни одного городского, жандарма, дворника и извозчика.

Лавки поспѣшно закрываютъ. Часть „молодцовъ“ вылѣзаетъ глазѣть на зрѣлище; другіе примыкаютъ къ охотнорядцамъ.

Кареты съ арестантами давно скрылись изъ виду.

Гортынскому и Любому грозитъ смертельная опасность.

Ихъ упорное сопротивленіе привлекаетъ къ нимъ наиболѣе сильныхъ и озвѣрѣвшихъ.

Они, видимо, уже ослабѣли. Еще минута — и ихъ растерзаютъ.

Уцѣлѣвшее ядрышко нашихъ, державшихся плотно, бросается къ нимъ на помощь, прокладывая себѣ дорогу среди нападающихъ боксами и палками.

Особенно удачно дѣйствуетъ ловкій сильный Малышевъ, пробивающійся, какъ таранъ.

Толпа обращаетъ вниманіе на журналиста Макова, уже пожилого, съ серебромъ въ большихъ „дьяконскихъ“ волосахъ.

— Вотъ ихъ набольшій! — оретъ нѣсколько голосовъ. — Бей его, подлеца!..

И на него, слабого и несопротивляющагося, набрасываются дюжіе молодцы, хватаютъ за косматые волосы, рвутъ ихъ прядями, сваливаютъ на землю и лупятъ сапогами.

— Такъ, такъ ихъ, мерзавцевъ!.. — поощряютъ „городовые пальто“.

Наша атака и кучка, избивающая Макова, отвлечают вниманіе охотнорядцевъ отъ Гортынского и Любова.

Толпа съ дикимъ ревомъ бросается за Малышевымъ, который, сдѣлавъ свое дѣло, убѣгаетъ.

Оторопѣлый, долговязый и необычайно худой Астафьевъ, прозванный Донъ-Кихотомъ, стоитъ на площади противъ университета и дико озирается.

Какой-то здоровенный дѣтина даетъ ему тумака, и онъ, какъ подстрѣленный, падаетъ на камень.

Подскакиваютъ нѣсколько человѣкъ и тычутъ его ногами въ грудь, животъ,—во что попало. У него изъ рта алой струйкой течетъ кровь; лицо блѣдно, туловище только вздрагиваетъ отъ ударовъ; онъ въ обморокъ.

Рыженькую худенькую курсистку Макаренко сшибили съ ногъ, обыскиваютъ и бьютъ нещадно, съ неистовыми ругательствами: „Ишь, лахудры,—и дѣвчонки съ ними заодно!“

— Дуй ее, чтобы свое дѣло знала!..

— Бросьте, негодяи!—грознымъ басомъ оретъ на нихъ вдругъ откуда-то появившійся гигантъ—Коля Армфельдъ, юноша почти саженнаго роста, страшный и нескладный.

Толпа ошарашена, бросаетъ жертву и колеблется.

Случайно подвернувшійся извозчикъ даетъ возможность положить на пролетку еле держащуюся на ногахъ Макаренко. Кто-то садится съ нею. Извозчикъ усиленно нахлестываетъ лошаденку, она пускается вскачь и быстро увозитъ обоихъ съ глазъ долой.

Побоище растянулось на всю Моховую, перешло въ переулки и постепенно движется къ манежу и Александровскому саду, разрѣжаясь и тая на обширномъ пространствѣ.

Товарищъ мой, „дипломатъ“ Черкасовъ, похожій по внѣшности на купца, думаетъ спастись хитростью.

Онъ снялъ очки и подслѣповатыми, близорукими глазами, съ руками въ пальто, какъ бы прохожій, оста-

новился у книжного магазина Карбасникова и рассматривает объявление.

Я удачно отбиваюсь отъ молодцовъ, притѣснившихъ меня къ овощной лавкѣ, но чувствую, что слабѣю и вотъ-вотъ упаду.

Богобоязненный хозяинъ сжаливается и предлагаетъ пропустить чрезъ задній ходъ, а нападающихъ „совѣститъ“.

— Не по-божьему!.. Брось!.. Говорю, оставь... Отвѣтишь... Образумься... Али креста на васъ нѣтъ?..

Многихъ „молодцовъ“, оказывается, онъ знаетъ въ лицо—и это помогаетъ.

Но сзади, при выходѣ изъ двора, у Александровскаго парка стережетъ новая партія охотнорядцевъ.

Они набрасываются тотчасъ же, всѣ вмѣстѣ, мѣшая другъ другу...

„Вотъ бы кинжалъ (заложенный утромъ), когда помочь бы!.. Однимъ видомъ своимъ!!.“ мелькаетъ мысль.

Руки совѣмъ не слушаются—не поднимешь!.. Мнѣ остается спастись бѣгствомъ.

И я бѣгу въ Кремль. Преслѣдователи скоро отстаютъ. Ихъ не интересуетъ „заяцъ“.

Я оправляюсь, привожу свой видъ въ порядокъ. Приходитъ мысль спастись и отдышаться на колокольнѣ Ивана Великаго, гдѣ я знаю всѣ ходы.

Тамъ у меня кружится голова, и я теряю сознание.

— Ничего, это бываетъ съ непривычки!—успокоиваетъ какой-то не то служба, не то звонарь.—Высоко очень...

И подносить ковшъ съ водой.

Слышу все, какъ въ забытѣи, и не соображаю своего положенія на колокольнѣ. Все тѣло ломитъ. Въ глазахъ ходятъ огненные круги. Грудь—сплошные кровоподтеки.

Побоище рѣдѣетъ и стихаетъ, бьютъ и преслѣдуютъ одиноко бѣгущихъ по Никитской, у манежа, у сада...

Виктора Пругавина спасаютъ длинныя, быстрыя ноги. За нимъ охотятся:

— Луши долговязаго... Лови!.. Держи!!.

За нимъ гонятся толстяки - любители изъ лавочниковъ, но, запыхавшись, отстаютъ и бросаютъ лишь булыжникомъ изъ кучъ, привезенныхъ для ремонта мостовой.

Петра Вальтера съ женой настигла толпа и пожелала обыскать. Ихъ спасъ какой-то господинъ, наплавивъ на преслѣдователей револьверъ.

Это образумливаетъ и даетъ время сѣсть на извозчика, которые опять начали появляться, равно какъ и полиція.

Одинъ силачъ спасается отъ настѣвшихъ, схватившись за рессору быстро мчавшейся мимо коляски. Повисшіе на немъ летятъ въ стороны.

Другой Вальтеръ—Александръ—вмѣстѣ съ тремя товарищами забѣгаетъ отъ охотнорядцевъ въ тупикъ.

Тамъ оказывается богадѣльня. Имъ даютъ временный пріютъ и напитокъ.

Но когда толпа начинаетъ грозить разгромомъ, богадѣльщицы взмаливаются:

— Ужъ вы уйдите!.. Съ вами бѣды наживешь... Испили квасу — и съ Богомъ... Кто вы такіе, мы не знаемъ... Можетъ, мазурики... Уходите, уходите...

И ихъ выдаютъ толпѣ, которая съ остервенѣніемъ набрасывается на нихъ...

Откуда-то появляется околоточный, городовой.

Ихъ ведутъ въ участокъ и... составляютъ протоколъ... о нарушеніи общественной тишины и спокойствія...

Но, удостовѣрившись въ личности, все же отпускаютъ...



VI.

Сходка всѣхъ студентовъ.

2 апрѣля 1878 года Катковъ по поводу охотнорядскаго побоища писалъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“:
*Вотъ отвѣтъ простого народа на скандалъ избранной пуб-
лики, устроенный въ залѣ С.-Петербургскаго суда 31 марта...*
(по случаю оправданія В. И. Засуличъ, стрѣлявшей въ ген. Трепова).

Москвичи знали, что это поклепъ на русскій народъ.

Побоище устроила московская полиція, подговорившая охотнорядскихъ торговцевъ, мясниковъ и приказчиковъ бить студентовъ.

Это было для всѣхъ очевидно. Но этого не знали въ Петербургѣ, гдѣ Москву всегда изображали оплотомъ „исконныхъ началъ“.

Мы добыли нѣсколько десятковъ свидѣтелей, видѣвшихъ полицейскихъ въ Охотномъ и слышавшихъ, какъ они звали „проучить хорошенько студентовъ“, гарантируя любителямъ кулачнаго боя полную безотвѣтственность и даже благоволеніе начальства.

Возмущенные студенты всѣхъ московскихъ учебныхъ заведеній рѣшили вывести и это дѣло на свѣтъ Божій, требуя гласнаго разслѣдованія.

Провожавшіе своихъ невинно высылаемыхъ кievскихъ товарищей ничего преступнаго не совершили.

Мы наивно думали, что этого достаточно, чтобы считать себя правыми.

„Какое оправданіе могъ имѣть этотъ дикій самосудъ толпы, организованный блюстителями порядка?—думали мы.—Надо лишь освѣтить это дѣло!“

Собратся рѣшили въ помѣщеніяхъ университета.

Въ виду ожидаемаго многолюдства сходки выбрали для нее аудиторію при анатомическомъ театрѣ.

Въ назначенный день двери ея оказались, однако, запертыми. Два „суба“ (субъ-инспектора) охраняли входы вмѣстѣ съ университетскими служителями.

Переговоры ни къ чему не привели.

Добродушный прежде „Андрюшка“ („субъ“) былъ незнаемъ.

Состроивъ уморительно важное лицо, онъ „переписывалъ“ подходившихъ студентовъ, торжественно заявляя, что „войти въ анатомическую аудиторію можно лишь черезъ его трупъ“.

Это такъ не шло къ его мышиннымъ глазкамъ, красному носу и бритымъ щекамъ...

Такъ какъ формы тогда не было, то его шпионная задача была не изъ легкихъ.

— Вы кто?—осаживалъ онъ подходящихъ студентовъ.—Ваша фамилія? Какого факультета? Курса?

— Васильевъ, Ивановъ, Петровъ,—не колеблясь, сыпали первыя пришедшія въ голову фамиліи.

И всѣ оказывались медиками I или II курса, какъ самыхъ многолюдныхъ, на которыхъ даже университетскіе „субы“ не знали тогда въ лицо и половины студентовъ:

— Ага, прекрасно-съ! Такъ и „запишемъ“,—не унился „Андрюшка“. — Именемъ ректора прошу васъ разойтись!

Но петровцы и техники, взявшіе на себя задачу овладѣть аудиторіей, и не думали уходить.

Все плотнѣе окружали они „стража порядка“.

И когда онъ оказался въ кольцѣ, рѣшили захватить входъ открытой силой.

Подъ напоромъ молодыхъ, крѣпкихъ плечей огромныя двери скоро подались.

Ожидавшіе на дворѣ шумно хлынули внутрь помещенія.

Народа набралось около двухъ тысячъ.

Тотчасъ же послали за ректоромъ.

Но онъ сносился въ это время съ генераль-губернаторомъ (кн. В. А. Долгоруковымъ) и не появлялся.

Въ ожиданіи его прихода занялись выясненіемъ положенія.

Викторовъ (универсантъ, медикъ) въ обстоятельной и красивой рѣчи сообщилъ о цѣли сходки и приглашалъ протестовать всѣми силами противъ насилій надъ студентами, произведенными, очевидно, съ одобренія властей.

Медикъ Мартыновъ предлагалъ выслушать показанія имѣющихся свидѣтелей и составить слѣдственную комиссію.

Потомъ говорили петровцы и техники, описавшіе обстановку демонстраціи и побоища.

— Подъ судъ палачей!—гремѣла толпа.

— Къ позорному столбу героевъ кулачной расправы!..

Выяснилось, что многіе изъ демонстрантовъ серьезно искалѣчены, а случайно проѣзжавшій мимо присяжный повѣренный Глаголевъ будто бы даже убить.

— Вѣренъ ли этотъ фактъ?—спросилъ предсѣдатель.

— Вѣрно! Вѣрно!—отозвались десятки голосовъ.

И начали объяснять, какъ это было.

Охотнорядцы приняли его за студента и вытащили изъ пролетки; нѣсколькими тумаками его сшибли съ ногъ и лежачаго начали бить чѣмъ попало, стучали его головой о мостовую, о фонарный столбъ, о трубу, топтали грудь ногами.

Онъ умеръ отъ кровоизліянія въ мозгъ.

— Почтимъ его память!—сказалъ кто-то.

И всѣ встали.

Торжественное гробовое молчаніе длилось болѣе минуты.

— Братцы, — предложилъ кавказецъ-техникъ Тягинскій, — можетъ-быть, для пользы дѣла придется устроить другую, болѣе внушительную демонстрацію, чтобы расшевелить сонное общество... Пусть вся Россія и весь міръ знаютъ, къ какимъ позорнымъ приѣмамъ прибѣгаютъ агенты русскаго правительства...

— Прекрасно! И устроимъ! Пусть знаютъ! — шумѣла возбужденная молодежь, не научившаяся еще у житейскаго опыта искусству мириться съ несправедливостью.

— Можетъ-быть, эта вторая демонстрація потребуетъ новыхъ, болѣе значительныхъ жертвъ, братцы, — возбужденнымъ, страстнымъ голосомъ спрашивалъ петровецъ Личковъ: — готовы ли всѣ на нихъ?

— Готовы, готовы!...

— Но выяснимъ сначала, чего можно добиться безъ нея, — предложилъ груднымъ, подкупающимъ голосомъ Викторъ Пругавинъ. — И только, использовавъ всѣ средства, рѣшившись на эту крайнюю мѣру...

Потомъ говорили: техники — Прозрителевъ, Андреевъ, Мордвиновъ, Фридензонъ, Гортинскій; петровцы — Малышевъ, Черкасовъ, Сокольскій; универсанты — Чихачевъ, Баженовъ, Лебедевъ, Кащенко, Елпатьевскій Бунинъ и другіе.

Рѣшено было: отъ ректора потребовать собрать совѣтъ и заступиться за интересы студенчества; объяснить все генераль-губернатору чрезъ особую депутацію; добиваться преданія виновныхъ суду.

По примѣру охотнорядцевъ и другіе лавочники во всѣхъ частяхъ города, оказывается, пробовали охотиться за студентами.

Гонялись за ними толпами...

Атукали — какъ зайцевъ...

Были уже случаи серьезныхъ избіеній.

Для самозащиты приходилось или добиваться законных мѣръ, или вооружаться.

Какъ ни горячо настроена была сходка, всѣ стояли за законные пути.

Вѣра въ судъ, нелицепріятный и суровый къ нарушителямъ права, еще не была поколеблена даже въ средѣ наиболѣе радикально настроенной молодежи.

Въ аудиторію, вмѣсто ректора, попросилъ позволенія войти общій любимецъ профессоръ Бабухинъ, читавшій лекціи въ нѣсколькихъ заведеніяхъ, а потому всѣмъ знакомый.

Мягко и съ большимъ тактомъ онъ доказывалъ студенчеству безцѣльность бывшей демонстраціи, предостерегалъ отъ новой и совѣтовалъ успокоиться, предоставить совѣтамъ профессоровъ всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній заступиться за студенчество и добиться слѣдствія и суда надъ виновными полицейскими и охотнорядцами.

Его слушали съ большимъ вниманіемъ, не перебивая.

Но когда онъ кончилъ, начались страстные возраженія.

Викторовъ, Елпатьевскій и Мартыновъ прямо сдѣпились съ нимъ.

Они доказывали, что положиться только на однихъ профессоровъ нельзя, а надо самимъ дѣйствовать; что только подъ напоромъ и давленіемъ всего студенчества и общественнаго мнѣнія можно чего-либо достигъ.

Другіе заявили, что „нечестно трусливо молчать, когда бютъ среди столицы братьевъ“...

— Надо всѣмъ протестовать!—шумѣла тысяча головъ.

Наконецъ убѣдившись, видимо, что опасности нѣтъ, явился ректоръ.

Онъ заявилъ, что отстоялъ стѣны старѣйшаго университета отъ унижительнаго вторженія въ нихъ поли-

ции. „Во имя науки и *alma mater*“ ректоръ приглашалъ успокоиться и ограничиться подачей заявленій о пострадавшихъ и свидѣтельскихъ показаній только ему.

Ректоръ обѣщалъ передавать ихъ тотчасъ же генералъ-губернатору.

Студенчество, разумѣется, не согласилось съ нимъ..

Курчавый страстный Богданъ Марковичъ (сынъ писательницы Марко Вовчокъ) методично и твердо разбивалъ его доводы.

— Мы не дѣти и не нуждаемся ни въ сказкахъ ни въ убаюкиваніяхъ,—гремѣлъ онъ.—И если цѣлью нашего старѣйшаго университета остаются старые завѣты—*искать истину*, вамъ, г. ректоръ, неудобно, какъ представителю этого храма науки, унижать знамя Герцена и Грановскаго... Мы требуемъ отъ васъ исполненія долга и мы сами исполнимъ его до конца!

Послѣ длинныхъ споровъ ректоръ, ничего не добившись, удалился. Но, уходя, онъ взялъ слово, что „господа студенты и гости“ спокойно, по окончаніи совѣщанія, разойдутся.

Сходка приступила къ избранію слѣдственной комиссіи.

„Субъ“ пробовалъ нѣсколько разъ вторгаться „послушать“, но его шумно изгоняли:

— Вонъ Андрюшка! Долой шпиона!—кричала толпа.

И онъ исчезалъ.

У входа, въ предупрежденіе подслушиваній, все время дежурили свои дозорные.

Сходка разошлась мирно.

Повторять опытъ побоища многолюдной подготовленной толпы полиція не рѣшилась.

Добродушный „хозяинъ Москвы“, кн. В. А. Долгоруковъ, говорятъ, не одобрилъ дикаго усердія своихъ опричниковъ:

— Знаете, вышло... э-э... слишкомъ, по-азіатски... Некультурно... Грубо!.. Если окажутся непріятности, я...

э-э... долженъ буду умыть руки, — журилъ онъ оберъ-полицмейстера. — *Un peu trop de zèle...*

Но въ Петербургѣ, благодаря, главнымъ образомъ, М. Н. Каткову, этотъ поддѣльный патріотизмъ „добраго русскаго народа“ похвалили и благодарили за него маститаго „хозяина“ первопрестольной.

Иностранные корреспонденты телеграфировали въ свои газеты, что „Москва, этотъ оплотъ старой настоящей Россіи, противъ революціи“.

Курсъ самодержавія, православія и народности на международной биржѣ поднялся.



VII.

Въ „конспиративной“.

Николай Васильевичъ Рейнштейнъ жилъ сперва на Нѣмецкой улицѣ, потомъ близъ мастерскихъ Брестскаго вокзала, а послѣднее время въ Грохольскомъ переулкѣ, на Мѣщанской.

Его квартиры считались конспиративными и въ нихъ пускали лишь избранныхъ, состоящихъ въ организаціяхъ.

Здѣсь всегда можно было достать послѣднюю нелегальную новинку, встрѣтиться со „своими“ изъ рабочихъ, добыть адреса, найти оказію, чтобы отослать что-либо серьезное въ Петербургъ и провинцію.

Рейнштейнъ замышлялъ, по его словамъ, на случай открытія петербургской тайной типографіи устроить запасную въ Москвѣ.

Для этого онъ исподволь подготавливалъ надежныхъ наборщиковъ изъ нашего брата.

Шрифта было мало. Тискали руками.

Маленькія прокламаціи по дѣлу Засуличъ и Охотно-рядскому избіенію набирались и печатались въ этой „конспиративной“ и потребовали огромнаго труда.

Но всѣ видѣли въ этомъ гражданскій долгъ, охотно возились цѣлыми часами, работая не быстрее изобрѣтателя книгопечатанія Гуттенберга и рискуя, по тогдашнимъ временамъ, каторгой.

Жена Рейнштейна какъ-то сторонилась насъ, смотрѣвшихъ прямо въ глаза. Она какъ будто постоянно боялась какого-нибудь прямого нескромнаго вопроса.

На видъ она была интеллигентнѣе мужа; одѣвалась со вкусомъ.

Вдумчивая, тонкая, не дурная собой шатенка, она какъ-то не шла къ разбитному, маленькому, грубоватому и вкрадчивому вмѣстѣ съ тѣмъ супругу.

Она неизмѣнно стѣснялась всѣхъ и избѣгала оставаться съ глаза на глаза съ кѣмъ бы то ни было. Казалось, ее тяготитъ какая-то тяжелая тайна, которую рано или поздно узнаютъ всѣ.

Ея задачей какъ будто было лишь отсрочить этотъ страшный день.

Съ нами, завсегдатаями, г-жа Рейнштейнъ вела себя какъ благовоспитанная барыня, ни въ какіе разпросы не пускалась, поила добросовѣстно чаемъ, потчевала вареньемъ и старалась казаться доброй и счастливой женой.

У нихъ въ квартирѣ хранилась не дурная бібліотека изъ изыятыхъ и изданныхъ за границей книгъ по соціологіи, политикѣ, философіи и исторіи.

Общее впечатлѣніе обстановка „конспиративки“ производила пестрое. Двѣ парадныя комнаты походили на тысячу другихъ мѣщанскихъ квартиръ средняго достатка; заднія — были смѣсью мастерской и квартиры небогатаго женатаго студента.

Къ Рейнштейнамъ заходила большая часть „нашихъ“.

Хотя прошлое его было для насъ темнымъ, а манера держать себя возбуждала часто невольныя подозрѣнія, но съ этимъ мирились:

— Все же хорошій парень, отдаетъ себя рабочимъ, тратитъ послѣдніе заработки на „дѣло“, „рискуетъ“, — оправдывали мы его.

Купить насъ было тогда легко.

Предостереженій болѣе опытнаго Люцернова (впослѣдствіи управляющаго государственными имуществами логодской губерніи) никто не слушалъ.

Отъ В. Г. Короленко Сергѣй Малышевъ не достоялъ противъ Рейнштейна опредѣленныхъ обвиненій.

Иногда, по тогдашнему московскому разгильдяйству у Рейнштейна собиралось весьма значительное общество обоюбого пола.

Одни въ столовой пили чай, спорили и легко ниспровергали „старый порядокъ“. Другіе бесѣдовали съ хозяиномъ въ кабинетѣ. Наиболѣе усердные занимались это же время пробнымъ наборомъ въ „типографіи“, тискали на печуркѣ, рядомъ, въ узкомъ коридорѣ, отдѣленномъ перегородкой. Оттуда во всѣ комнаты несло запахъ скипидара и типографской краски.

Вся видная московская радикальная молодежь бывала у Рейнштейна.

И даже осторожные Дурново, Ефронъ, Фридензонъ, Мартыновъ считали себя какъ бы обязанными посѣщать „конспиративку“.

Какъ-то зашла рѣчь о предательствѣ и возможномъ шпионствѣ въ нашей средѣ.

Присутствующіе дружно заявили, что задушили такого измѣнника народу собственными руками.

А одинъ изъ молодыхъ силачей въ порывѣ гнѣва хватилъ кастетъ изъ кармана и грозно заявилъ:

— Такому не задумался бы размозжить черепъ собственными руками!..

При этомъ онъ сверкнулъ глазами на Николая Сильевича, желая, видимо, показать, что товарища, боища всѣхъ насъ подвергающагося опасности, мы не выносимъ ни въ какомъ случаѣ.

Это побужденіе, какъ оказалось потомъ, онъ понялъ наоборотъ: какъ намекъ, и сразу поблѣднѣлъ; верхняя губа затряслась; весь онъ съежился.

Въ его мозгу пронеслась мысль, что его уже „опознали“ какъ шпіона...

Нѣсколько секундъ онъ колебался, потомъ быстро выхватилъ изъ-за ошкура брюкъ заряженный револьверъ, окинулъ всѣхъ быстрымъ испытующимъ взглядомъ и процѣдилъ тусклымъ упавшимъ голосомъ:

— И я... тоже!!.

На этомъ онъ подавился и только озирался, какъ пойманный волчонокъ, тяжело дыша.

Не выпуская изъ рукъ револьвера, Рейнштейнъ дико вперился въ насъ глазами, ища объясненій, готовый къ нападенію и бою...

Тогда никто изъ насъ не угадалъ его думъ: ему еще вѣрили.

Мы торопливо и крѣпко пожали ему руки. А средняя сестра Добровѣрова торжественно произнесла:

— Братцы, я увѣрена, что мы не выдадимъ другъ друга. Мы служимъ народу и должны умереть, или — побѣдить!

— Да! Смерть или свобода! — подтвердили всѣ присутствовавшіе.

Рейнштейнъ окончательно успокоился и пошелъ посылать прислугу за пивомъ, чтобы скрыть послѣдніе слѣды смущенія.

Угощая насъ, онъ обращалъ особенное вниманіе на Ольгу Сеньковскую, красивую шатенку съ черными глазами. Подсѣвъ къ ней, онъ сталъ шептаться, обводя ее масляными, сладенькими глазками.

Мы тогда же начали трунить надъ „прекрасной Еленой“, плѣнившей революціоннаго Париса.

Ухаживанія и флиртъ всѣми осуждались.

У насъ господствовала пуританская строгость нравовъ.

И всякая вольная шутка, даже нехорошій взглядъ возбуждали у всѣхъ негодованіе, хотя товарищеское „ты“ и хлопанье по плечу между мужчинами и женщинами были обычными.

Наше подозрѣніе амурныхъ плановъ Рейнштейна усилилось еще тѣмъ, что жена его обошлась съ Сеньковской сухо, не угощала ее, косилась и фыркала.

Это огорчало не только гостей, но, видимо, и Николая Васильевича, пробовавшаго отщучиваться.

Менѣ всѣхъ замѣчала загорѣвшійся порывъ и ухаживанія флегматичная на видъ, чистая и мало наблюдательная Ольга.

Елизавета Петровна Дурново, по прозвищу „Лиличка“, шепнула ей:

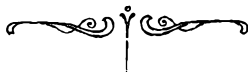
— Развѣ ты не видишь? Осади его хорошенько. Не хорошо!

Она держала себя гордой римлянкой, мягкой, привѣтливой, но недоступной.

Такою, впрочемъ, она была и на самомъ дѣлѣ.

Этотъ эпизодъ съ ухаживаніемъ оставилъ у всѣхъ непріятный осадокъ.

Точно запахъ ретирада ворвался въ благоуханіе весеннихъ цвѣтовъ и еще болѣе нѣжныхъ, тонкихъ и чистыхъ идей и чувствъ.



VIII.

Убійство шпіона Рейнштейна.

За открытіе петербургской тайной типографіи Николаю Васильевичу Рейнштейну была обѣщана кругленькая сумма въ десять тысячъ рублей.

Кружокъ, ведущій это дѣло, состоялъ, однако, изъ опытныхъ революціонеровъ, державшихся весьма замкнуто и осторожно.

Петербургскіе сыщики изъ силъ выбились, чтобы напастъ на ея слѣдъ.

Внезапные обыски наугадъ не давали никакихъ нитей.

Удалось лишь прослѣдить случайно другую организацію, ведущую сношенія съ рабочими и издающую подпольную рабочую газету.

Въ числѣ замѣшанныхъ въ это дѣло былъ и Владимиръ Галактіоновичъ Короленко.

Не торопясь съ арестами, жандармское управленіе (охранокъ тогда еще не было) тщательно выслѣживало всѣхъ причастныхъ.

А Рейнштейна командировали поспѣшно въ Москву, чтобы попытаться, чрезъ московскія организаціи проникнуть въ петербургскія и захватить сразу всю сѣть.

Онъ уже зналъ изъ собранныхъ исподволь данныхъ, какіе кружки имѣются тамъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

И чрезъ нихъ-то, заручившись второстепенными рекомендаціями, онъ составилъ планъ проникнуть въ мое „ядро“.

„Работа“ его въ Москвѣ шла настолько удачно, что вскорѣ въ рукахъ жандармовъ были списки главных дѣятелей съ характеристиками каждаго.

Онъ „втерся“, повидимому, прочно и завоевалъ себѣ достаточно довѣрія.

На удочку „запасной“ тайной типографіи и „конспиративки“ для рабочихъ довѣрчивые москвичи пошли легко.

Многихъ нелегальныхъ, правда лишь по кличкамъ псевдонимамъ, ему удалось уже узнать въ лицо.

Оставалось прослѣдить ихъ квартиры, при первомъ случаѣ, когда они обратятся къ нему за содѣйствіемъ добиться знакомства съ питерскими—и типографія будетъ захвачена.

Онъ уже ощущалъ сладостный мигъ полученія обещанной щедрой награды.

„А съ деньгами да съ головой нигдѣ не пропадешь!“ думалось ему.

Чтобы скорѣе заставить питерскіе кружки искать въ ваго убѣжища въ Москвѣ и толкнуть вожakovъ на общенія съ Рейнштейномъ, петербургское жандармское управление рѣшило не откладывать далѣе намѣченныхъ обысковъ и арестовъ.

Они должны были внести разстройство въ ряды революціонеровъ и ускорить развязку.

Когда часть петербургскихъ радикаловъ очутилась въ тюрьмѣ, у нихъ естественно возникла мысль: кто могъ ихъ выдать.

Тщательно изучивъ всѣ пострадавшія квартиры, ихъ посѣтителей и общій списокъ арестованныхъ, много остановились на любопытномъ совпаденіи: хожденія и плятмъ сыщиковъ начиналось обычно послѣ знакомства съ маленькимъ рабочимъ—Николаемъ Васильевичемъ.

При первыхъ же свиданіяхъ они сообщали свои подозрѣнія и догадки друзьямъ и роднымъ.

Петербургскій исполнительный комитетъ сталъ наводить точныя справки и прослѣдилъ не только всю дѣятельность Рейнштейна, но и его прошлое, всѣ знакомства и т. д.

Удалось заручиться несомнѣнными доказательствами его службы въ государственной полиціи и о цѣли командировки въ Москву. Клѣтчиковъ прямо сообщилъ, что выдалъ путь къ типографіи Рейнштейнъ.

Въ виду огромной опасности, которой изъ-за него подвергались сотни лицъ, несомнѣнности уликъ и уже произведеннымъ по его доносамъ серьезнымъ арестамъ *), исполнительный комитетъ рѣшилъ казнить его, о чемъ впослѣдствіи оповѣстилъ особыми листками и въ „Началъ“.

Исполненіе приговора взяли на себя три лица, оставшіяся неизвѣстными.

Въ концѣ февраля 1879 года Николай Васильевичъ получилъ отъ Ольги Сеньковской коротенькую записку:

„Приходите въ мамонтовскія меблированныя комнаты № такой-то, въ семь вечера. Буду одна. Ольга“ **).

Темнѣло. Осторожный всегда сыщикъ, опасавшійся всюду засадъ, колебался.

„Но Ольга такая простая, наивная... Она, видимо, увлеклась мною... Наконецъ-то добился!“ думалъ онъ, сладко мечтая о свиданіи съ интересной дѣвушкой, которую около трехъ мѣсяцевъ преслѣдовалъ безуспѣшно ухаживаніями.

„Упустить такой случай! Вѣдь для этого надо быть такимъ подозрительнымъ дуракомъ, какъ я!.. Какія основанія? Все идетъ гладко. Въ Москвѣ не арестована еще ни одна собака!.. А въ Питерѣ... Но откуда они догадуются, что это я ихъ, голубчиковъ, поприбралъ?“

*) Въ томъ числѣ Клеменца и Астафьева. Морозовъ спасся лишь случайно.

**) По другому варіанту—Сеньковская звала его на *собраніе* „своихъ“.

И глаза его загорѣлись зеленымъ волчьимъ блескомъ.

„Нѣтъ, чортъ возьми, я молодъ и хочу имѣть Олечку. Вотъ натяну носъ долговязому Витѣ (Пругавину)... Тоже, поди, заглядывался на красавицу... Да руки, братъ, коротки! Жена, противная, кислая нюня, опостылѣла... Вотъ я ей въ отместку: не любезничай съ офицерами“.

Онъ переодѣлъ чистое бѣлье, надѣлъ новый сюртукъ, засунулъ въ ошкуру брюкъ револьверъ и, весело посвистывая, пошелъ постричься и spraysнуться духами въ парикмахерскую.

„Она это любить, — подумалъ онъ, — все же барской крови, хоть и нигилистка“.

Было уже двадцать минутъ седьмого, когда швейцаръ напялилъ на него пальто въ парикмахерской, а шустрый мальчишка, неизвѣстно для чего, торопливо шмыгалъ по немъ вѣникомъ.

„Возьму извозчика, чтобы не опоздать“...

Сердце усиленно колотилось отъ сладкаго ожиданія...

— Чего ты копаешься? На чай получишь, — торопилъ онъ сквернаго „ваньку“, усиленно хлеставшаго свою престарѣлую измученную клячу.

— Ну, ну, живѣй!..

Бѣхать приходилось по закоулкамъ плохо освѣщенныхъ улицъ, и они наводили на него „жутъ“.

„А вдругъ засада?“ — мелькала мысль, подсказываемая подозрительной, нечистой совѣстью.

„Ну, буду остороженъ, сразу не войду“, успокоивалъ онъ себя.

И онъ нащупывалъ своего надежнаго товарища — револьверъ.

Въ швейцарской грязной „мамонтовки“ онъ первымъ дѣломъ сталъ читать таблицу жильцовъ. Но передъ заветнымъ номеромъ никого не значилось.

— Кто здѣсь живетъ? — обратился онъ къ глуповатому и сонному швейцару.

— А кто ихъ знаетъ. Развѣ всѣхъ запомнишь?.. У насъ вѣдь полтораста номеровъ.

— Почему же фамилія не прописана?

— Должно, изъ конторы не дали... Приѣзжіе какіе-нибудь изъ провинціи.

— А дама тутъ не проходила, такая молодая... хорошенькая? — вырвалось у него нечаянно.

— Мало ли ихъ шляется хорошихъ... проходили... У насъ насчетъ этого просто, хозяинъ не запрещаетъ, — флегматично отозвался швейцаръ.

По темнымъ низкимъ и извилистымъ коридорамъ онъ добрался, наконецъ, до желаннаго номера.

Никто не попался на пути.

Дыханіе спирало, ноги подкашивались подъ колѣнями.

Гдѣ-то вблизи визжала скрипка. Пахло керосиномъ и подгорѣлымъ саломъ.

Онъ постучался.

— Войдите, — отозвался мягкій, грудной голосъ.

— Это вы, Ольга? — тихо спросилъ нетерпѣливый любовникъ, переступая порогъ.

— Я, я! — и она вышла быстро навстрѣчу, красивая какъ всегда, но блѣдная съ горящими, нервными глазами.

Небольшой номеръ, состоящій изъ крохотной передней, гостиной и спальни, былъ слабо освѣщенъ одной лампой съ абажуромъ, дававшимъ свѣтъ лишь на ска-терть.

Заслонивъ собою входъ съ занавѣсками, отчего въ передней стало еще темнѣе, она торопливо заговорила полушопотомъ:

— Снимайте же скорѣе пальто. Я заждалась...

Всякая подозрительность сразу исчезла. Кровь прилила въ голову. Крахмальный воротникъ мѣшалъ и злилъ.

— Сейчас, сейчас, дорогая Олечка... Спасибо...

И, не найдя сразу вѣшалки, онъ нервно сбросилъ пальто прямо на полъ и кинулся облапить ее въ объятія.

Она скользнула, какъ змѣйка, въ гостиную, увлекая его за собой...

Изъ-за занавѣсокъ и шкапа на него сразу набросилось трое.

Двое схватили каждый за руку, третій—за горло...

И не успѣлъ онъ вскрикнуть и о чемъ-нибудь подумать, какъ этотъ третій сильнымъ ударомъ кистеня оглушилъ его по темени.

Ноги подкосились. Голова повисла. Державшіе тихо опустили туловище на полъ.

— Одѣвайтесь, пойдѣмъ,—сказалъ одинъ изъ нихъ, быстро надѣвая свое пальто и подавая Ольгѣ кофточку: — Живѣй!

Она покорно-растерянно повиновалась, трясущаяся, не отдавая себѣ отчета въ случившемся, которое она и не подозрѣвала.

— Сейчас, сейчас! Я готова...

Когда удалились шаги этой пары, одинъ изъ оставшихся повернулъ тихо ключъ, но замокъ все же щелкнулъ.

Горничная торопливо пронесла мимо по коридору самоваръ на подносѣ.

Оставшіеся притаились.

Скрипка продолжала выводить надоѣдливыя, высокія ноты.

Убѣдившись, что вблизи никого нѣтъ, двое бережно сволокли тѣло въ уголъ. Голова безпомощно болталась, губы побѣлѣли и открылись, отчего зубы казались оскаленными, изъ черепа сочилась кровь...

— Надо еще!—шепнулъ одинъ и впустилъ ловкимъ ударомъ кинжалъ въ грудь, послѣ чего повернулъ его, но не вынулъ.

Туловище не дрогнуло. Изъ раны и изо рта хлынула кровь.

Оба безразлично отошли, стараясь не запачкаться. На лицо набросили полотенце: нѣмой упрекъ мертвеца невыносимъ.

Потомъ они осторожно освободили изъ-подъ стола коверъ и загородили имъ растущую кровяную лужу. Но кровь просачивалась сквозь.

Пришлось снять мягкій матрацъ, одѣяло, подушку и плотно обгородить ими трупъ со стороны двери.

По коридору опять шло нѣсколько человѣкъ, весело болтая.

Они одѣлись и вслушивались, отворивъ замокъ, который опять громко щелкнулъ, ударивъ снова по натянутымъ нервамъ.

Въ коридорѣ опять никого не было. Гдѣ-то вблизи компанія пила чай. Звенѣли чайныя ложки, опускаемые въ пустые стаканы. Слышался чей-то глупый хохотъ.

Оставалось уйти...

Но одинъ изъ нихъ вспомнилъ, что не все додѣлано. Онъ вынулъ изъ кармана бумажку и положилъ на трупъ.

На ней было напечатано:

„Шпіонъ Николай Васильевичъ Рейнштейнъ казнень по приговору центральнаго исполнительнаго революціоннаго комитета“.

Другой потушилъ лампу.

Остаться долѣе въ страшномъ номерѣ было немного. Трупъ, казалось, шевелится и тихо стонетъ.

Они рѣшительно отворили дверь и очутились въ коридорѣ.

Оставалось запереть комнату. Но ключъ долго не попадалъ въ замочную скважину.

Чтобы немного успокоиться и осмотрѣться, пошли въ уборную.

Оба были блѣдны. Но слѣдовъ крови не было ни на одеждѣ ни на обуви. Лишь у одного, дѣйствовавшего

кинжаломъ, вся кисть правой руки оказалась красной липкой.

Основательно вымылись, при чемъ платки, которые вытирались, бросили въ клозетъ.

Спустившись въ швейцарскую, они уже вполнѣ в дѣли собой.

— Оставимъ ключъ или возьмемъ съ собой? — спросилъ одинъ изъ нихъ.

— Лучше возьмемъ: вѣдь вещи въ номерѣ. На не отмѣчайте, мы съѣздимъ только помолиться Троице-Сергіево, — весело добавилъ онъ.

— Слушаю-съ! — отозвался швейцаръ.

— А вы изъ котораго номера?

Они назвали и спокойно, не спѣша, вышли, не вбуждая ни въ комъ подозрѣнія.

Бесѣда эта нужна была не для нихъ, конечно, чтобы выиграть возможно больше времени до раскрытiя убiйства и успѣть предупредить всѣхъ, имѣвшихъ х какiя-либо сношенiя съ Рейнштейномъ.



IX.

„Почтальонъ“.

Объ убійствѣ въ мамонтовскихъ номерахъ шпіона въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ появилась замѣтка до обнаруженія его полиціей—5 марта.

Лишь на седьмой день послѣ убійства, когда трупный запахъ сталъ нестерпимымъ и началъ тревожить жильцовъ, рѣшено было дать знать объ исчезновеніи таинственныхъ жильцовъ.

Это совпало съ появленіемъ хроникерскаго сообщенія, доставленнаго въ редакцію кѣмъ-то наканунѣ.

Замѣтка объ убійствѣ шпіона должна была облегчить показанія лицъ, которыхъ привлекутъ по этому дѣлу. А что привлекутъ многихъ—никто не сомнѣвался, потому что записная книжка сыщика осталась при немъ, а кромѣ того, конечно, онъ долженъ былъ успѣть сдѣлать и много доносовъ.

Когда приставъ съ понятыми вскрылъ дверь, изъ нея пахло такимъ зловоніемъ, что всѣ шарахнулись.

Лицо Рейнштейна стало неузнаваемымъ. Изъ глазъ, рта, ранъ текла гнойная жидкость. Животъ вздулся какъ барабанъ. Кровавыя лужи на полу высохли и почернѣли. Волосы на головѣ и бородѣ слиплись.

Трупъ отвезли въ покойницкую при полицейскомъ домѣ для вскрытія, и началось слѣдствіе.

Оно было поручено слѣдователю по особо важнымъ дѣламъ Глобо-Михайленкѣ.

Полиція принялась за розыски.

Жандармы выясняли кругъ лицъ, съ которыми убитый имѣлъ дѣла. Списки, полученные изъ Петербурга, облегчили эту часть задачи.

Ольга Сеньковская заболѣла острымъ нервнымъ расстройствомъ, бредила и галлюцинировала, описывая постоянно врѣзавшуюся въ мозгъ ужасную сцену.

За ней ухаживали „наши“ и прятали ее, боясь, что она невольно можетъ кого-либо выдать въ безпачастствѣ, въ случаѣ ареста.

Но опасенія были преувеличенными: она не знала никого изъ пріѣзжихъ членовъ исполнительнаго комитета.

Опасность могла грозить лишь тому, кто ее свелъ съ ними.

Это скрывалось, разумѣется, въ строжайшей тайнѣ.

Въ предупрежденіе случайностей ее увезли изъ Москвы еще больную.

Въ деревнѣ къ полному нервному потрясенію прибавилась простуда.

Она заболѣла скоротечной чахоткой и умерла, заплативъ своей молодой жизнью за смерть шпиона, въ которой не была повинна.

Въ „кружкахъ“ стало извѣстно, что Рейнштейнъ убитъ, какъ шпионъ, въ тотъ же вечеръ.

Объ этомъ позаботились „комитетчики“, чтобы всѣ могли приготовиться къ возможнымъ обыскамъ и арестамъ.

Въ это время въ Петербургѣ выходило „Начало“ органъ социалистовъ-политиковъ.

Его перевозилъ въ Москву особый „почтальонтъ“ извѣстный въ кружкахъ подъ именемъ „Владимира“ „Володьки“.

Свѣтло-рыжій блондинъ, юркій и подвижной, акробатно всегда подъ вечеръ являлся къ намъ въ Петро-Разумовское въ назначенныя для того квартиры.

Онѣ постоянно мѣнялись, переходя съ Выселокъ и казенныхъ номеровъ на шоссе, въ уединенныя дачи, обитаемыя „своими“.

Владиміръ Любавскій (Юхельсонъ)—такъ его звали—имѣлъ типично еврейскую внѣшность.

Помимо произношенія такихъ рискованныхъ словъ, какъ „пухъ“, „духъ“, его выдавалъ носъ, характерно сръзанный на концѣ, и движенія, столь знакомыя всякому, кто жилъ въ чертѣ осѣдлости.

Паспортъ, однако, онъ имѣлъ русскій.

И эта бумажка-то и сгубила его въ послѣдствіи, показавшись подозрительной при сличеніи ея съ владѣльцемъ.

„Володька“ не былъ, конечно, трусомъ, но по привычкѣ къ конспираціи былъ всегда насторожѣ, словно заяцъ, прислушивающійся къ каждому подозрительному шороху.

Въ казенкѣ (казенныхъ номерахъ) его подъ конецъ перестали даже пускать ночевать, ибо онъ всю ночь не давалъ покоя пріютившему его хозяину комнаты — студенту.

Спалъ онъ неизмѣнно одѣтымъ въ двѣ смѣны бѣлья.

Въ каждомъ звонкѣ, раздающемся тамъ обычно всю ночь, такъ какъ въ 12 часовъ номера запирались, онъ предполагалъ непременно входящую полицію и приспособлялся, чтобы выпрыгнуть въ окно.

Разъ ему показалось звяканье шпоръ, за которыя онъ принялъ звукъ мелочи, которую трясъ пьяненькій студентъ въ рукѣ, получивъ только что сдачи отъ извозчика.

„Володька“ вскочилъ на подоконникъ въ котелкѣ съ неизмѣннымъ сверткомъ бѣлья въ рукѣ.

Звяканье ясно повторилось. Онъ попробовалъ открыть окно, но оно оказалось еще не выставленнымъ, хотя стояла уже поздняя весна.

Тогда онъ подставилъ табуретъ и сталъ осторожно вылезать въ форточку.

Свѣтила полная луна. Стоявшій у церкви городов недоумѣвающе смотрѣлъ на эту непривычную сцену, и никакъ не могъ вообразить, чтобы къ студенту могъ забраться воръ.

Володька быстро спрыгнулъ и тотчасъ же, какъ лѣсной звѣрекъ, побѣжалъ, вилля въ густыхъ кустахъ сирени.

Стражъ порядка тогда смекнулъ, что дѣло неладно, и началъ давать тревожные свистки.

Но на нихъ никто не отозвался, и бѣглець преслѣдую- койно скрылся въ паркѣ, гдѣ провелъ остатокъ ночи дремля сидя на скамеечкѣ, прислонившись къ дереву.

Городовой, однако, не успокоился и поднялъ на всѣхъ сторожей „казенки“.

Они явились къ номеру, изъ котораго ушелъ такой необычайнымъ способомъ гость, и просили сообщить, что случилось?

Студентъ оказался находчивымъ и объяснилъ, что гость вылѣзъ въ форточку „спяна“, потому что онъ хотѣлъ его пускать домой и заперъ дверь на ключъ.

Этимъ дѣло на этотъ разъ и кончилось.

Но на Выселкахъ, спасаясь отъ мнимыхъ преслѣдователей черезъ заборъ, „Володька“ упалъ и переползъ шилъ буквально все населеніе.

Ближній сторожъ дико заоралъ почему-то „карауль“.

Гулявшая любовная парочка бросилась со всѣхъ ногъ бѣжать неизвѣстно куда.

За ними погнался выскочившій изъ трактира полковникъ съ криками: „Держи, держи!“

Кто-то выстрѣлилъ изъ охотничьяго ружья... Но сторожа затрепали своими колотушками.

Собаки подняли лай и вой.

Спавшій городской обнажилъ пашку и понесся на десятскому, непрерывно свистя на бѣгу.

Изъ домовъ выбѣгали съ кольями, топорами и бросались, кто куда,—ловить невидимаго врага.

Появились зажженные фонари. Искали какихъ-то слѣдовъ на дорогѣ.

Кто-то посовѣтовалъ бѣжать къ академической церкви и ударить набатъ.

Откуда-то появилась перепуганная кухарка и визгливо причитала: „Зарѣзали, душегубы! Зарѣзали, злодѣи!.. Охъ, батюшки мои, охъ, смертынька пришла!..“

— Гдѣ? Кого? Кто?—посыпались вопросы сошедшихъ около нея въ кучку дачниковъ и студентовъ.

Но она только руками разводила и ахала.

Оказалось—ей это спросонья „примерещилось“.

А виновникъ переполоха торопливо пробирался лѣсомъ въ другую знакомую квартиру по шоссе, чтобы и тамъ испортить хозяевамъ остатокъ ночи...

Черезъ двѣ недѣли послѣ убійства Рейнштейна, когда всѣ знавшіе его уже поуспокоились и перестали ждать ночныхъ гостей, къ намъ, на дачу Фивейскаго, съ тюкомъ свѣженькаго номера „Начала“ и другой нелегалыщины явился этотъ самый „Володька“.

И противъ обыкновенія не въ урочный часъ, а уже поздно вечеромъ.

Мы не были довольны его пріѣздомъ къ намъ, такъ какъ у насъ проживали двѣ нелегальныя сестры Ивановскія, и квартира наша, занятая Малышевымъ, Пругавинымъ, Муромцевымъ, Зиновьевымъ и мною, была не изъ безопасныхъ.

Но дѣлать было нечего—пришлось приняться за разборку почты, а самого „почтальона“ свести въ болѣе надежное убѣжище...



Х.

Дѣло объ исполнительномъ комитетѣ.

Въ ночь съ 6 на 7 марта 1879 года къ дачѣ вейскаго въ Петровско-Разумовскомъ подъѣхали на несколькихъ извозчикахъ жандармскій офицеръ, становой приставъ, урядникъ и семь жандармскихъ унтеровъ.

Мы едва успѣли заснуть, закончивъ разборъ „почты“ и проводивъ „Володьку-почтара“.

У двухъэтажной дачи было два входа: парадный чрезъ который мы принимали лишь особо почтенныхъ гостей, и задній—мимо кухни, нашъ обычный.

Наша квартира помѣщалась наверху; внизу никто не жилъ.

Мы сами прибирали комнаты, кололи по очереди дрова и топили печи.

Въ комнатѣ у кухни была спальня А. Пругавиной, Зиновьева и Муромцева, въ маленькой, проходной, комнатѣ—Малышева и моя.

Въ большомъ залѣ, служившемъ общей столовой и приемной, въ эту ночь спали сестры Евдокія и Александра Семеновны *) Ивановскія—„Дуся“ и „Сапа“, к которымъ мы ихъ звали по-братски, жившія безъ прописки.

Дребезжащій, нервный звонокъ быстро поднялъ насъ на ноги.

Мы собрались на военный совѣтъ.

*) Евдокія Семеновна Ивановская вышла потомъ замужъ за В. Г. Прута, а ея сестра Александра—за С. А. Малышева.

Предстояло рѣшить нѣсколько задачъ: куда дѣтъ около 500 №№ „Начала“, которые мы оставили у себя изъ полученной партіи для раздачи утроемъ, письма и адреса, привезенные съ почтой, какъ спасти отъ случайнаго ареста нашихъ гостей...

А звонокъ такъ и плясалъ отъ нетерпѣливыхъ дерганій проволоки съ улицы.

Насъ отдѣляли отъ враговъ четыре крѣпкія двери, а потому мы имѣли время принять необходимыя мѣры.

Рѣшили комнату дѣвицъ запереть съ ихъ стороны, загородить комодами двери въ нее,—словомъ, уничтожить слѣды внутренняго сообщенія, а имъ самимъ обвязаться платками и имѣть видъ больныхъ.

„Начало“—спрятать въ печь, опустивъ связку въ дымоходъ подъ вьюшки; письма—сжечь, а шифрованные адреса переписать немедля и каждому зашить въ подкладку пальто.

— Дзынь... дзынь... дзынь!..—торопилъ сердитый звонокъ, надоѣдая и щелкая по нервамъ.

Черезъ четверть часа, когда все было сдѣлано, мы снова улеглись въ постель, а краснощекій „Зинка“ (П. А. Зиновьевъ *) пошелъ со свѣчкой въ рукахъ отворять двери.

— Кого Богъ принесъ? — наивно, дѣланно, заспаннымъ голосомъ спросилъ онъ незваныхъ гостей, прежде чѣмъ открыть засовъ.

— По предписанію московскаго жандармскаго управленія. Отворяйте немедленно, иначе прибѣгнемъ къ взлому и дѣйствию оружіемъ.

— Милости просимъ!—и онъ распахнулъ обѣ двери. Но „гости“ не торопились, однако, входить.

Расположеннаго къ намъ дворника пустили впередъ, „Зинка“ успѣлъ шепнуть ему: „Барыни только сегодня пріѣхали, живутъ отдѣльно, входъ къ нимъ съ парадной“.

*) Впослѣдствіи псковскій правительственный агрономъ.

Онъ глазами далъ знакъ, что понялъ и исполнить.
За нимъ весьма нехотя шли понятые—сосѣдніе дворники и какая-то „личность“, вѣроятно, сыщикъ.

Потомъ—урядникъ и жандармы.

Становой и жандармскій ротмистръ замыкали шествіе, держась все время насторожѣ.

У нихъ съ собой были потайные фонари, какіе употребляютъ опытные жулики.

Вваливаясь гурьбой въ комнату, жандармы тотчасъ же кидались къ нашимъ постелямъ и хватали насъ за руки.

Повидимому, они готовились къ вооруженному сопротивленію, такъ какъ кобуры револьверовъ у всѣхъ были отстегнуты, а сами они имѣли озвѣрѣло-нервные лица.

Мы, изображая изъ себя сонныхъ, ворчали и потягивались, дѣлая видъ, что не понимаемъ, въ чемъ дѣло.

Охотничьи ружья, висѣвшія на стѣнѣ, имъ показались весьма опасными.

Они поспѣшно захватили эту военную добычу и перенесли на храненіе понятымъ и уряднику, которые перебирались одинъ за другимъ на кухню курить.

Обыскъ былъ тщательный. Щупали подъ обоями, высыпали на бумагу чай, копались въ золѣ, вынимали изъ кивотовъ хозяйскіе образы.

Книги и брошюры, носившія подозрительныя названія въ родѣ „ассоціація“, „соціологія“, „рабочій вопросъ“ и т. п., разумѣется, для пользы отечества отбирали, предварительно освѣдомившись, кому которая принадлежитъ.

Фотографическія карточки, письма и даже лекціи, рукописи привлекали то же вниманіе и забирались.

Литографированныя лекція по политической экономіи проф. И. И. Иванюкова съ рисункомъ цѣпей на первой страницѣ ихъ злили, какъ кумачъ индюка.

На столѣ образовалась горка такихъ „вещественныхъ доказательствъ“ нашей преступности.

Но ни ротмистръ ни унтеръ не были довольны результатами обыска.

Очевидно, желали найти адскія машины, тайную типографію или хоть складъ оружія и нелегалщины.

Полѣзли на чердакъ, въ дровяной сарай и во всѣ надворныя постройки, къ которымъ, какъ божился, впрочемъ, жандармамъ дворникъ, мы никакого касательства не имѣли.

Ничего „серьезнаго“ обнаружено не было.

Оставалось писать протоколъ.

Уже свѣтало. Всѣмъ ужасно захотѣлось чаю. Пахло махоркой и сырыми онучами.

Сосѣдки-жилицы любезно предложили жандармскому офицеру и становому чрезъ дворника послѣ „исполненнаго долга“ по стаканчику.

Насъ тоже пригласили.

Это былъ весьма предусмотрительный маневръ, такъ какъ иначе у нихъ за компанію тоже былъ бы, несомнѣнно, произведенъ обыскъ, а затѣмъ и неизбѣжный арестъ ихъ, какъ безымянныхъ.

Въ этомъ смыслѣ ротмистръ уже перешоптывался съ вахмистромъ и становымъ.

Сестры Ивановскія прекрасно разыграли роль пріѣзжихъ и больныхъ помѣщицъ, пріѣхавшихъ за покупками скота съ академической фермы и саженцевъ изъ питомника. Они любезно разливали чай, угощали, шутили,—словомъ, вели себя такъ мило и просто, что усыпили подозрѣніе.

Мы галантно представлялись имъ (изображая незнакомыхъ), просили простить за невольное безпокойство. Ротмистръ тоже извинялся, говорилъ о своихъ тяжелыхъ обязанностяхъ и поминутно щелкалъ шпорами, издававшими „малиновый звонъ“.

Выпивъ по стакану мы церемонно благодарили и уходили прежнимъ путемъ чрезъ парадную дверь, къ себѣ.

Ротмистръ и становой, съ разрѣшенія хозяекъ, ослѣдствовали въ ихъ квартирѣ дописывать протоколъ.

Къ нимъ же старшій унтеръ перенесъ и результаты „выемки“, т.-е. книги, письма, карточки, лекціи; съвязанные крестъ-накрестъ веревочкой и скрѣпленные унтеръ сургучной печатью.

Унтеръ прикладывалъ ее съ такимъ глубокомысліемъ на лицѣ, что можно было подумать, будто именно съ этой печати зависѣла незыблемость основъ и цѣлоустроеніе государства.

Жандармы ходили за нами по пятамъ, пытлииво вглядываясь въ лица и подозрительно слѣдили за каждымъ движеніемъ. Намъ, конечно, интересовало болѣе всего: арестуютъ ли насъ и всѣхъ ли и какія обвиненія предъявятъ?

Наскоро полусловами мы дѣлились своими соображеніями, давали другъ другу разныя порученія, что исполнить ихъ тому, который уцѣлѣетъ.

Прошелъ длинный томительный часъ, пока къ намъ вернулся ротмистръ и началось монотонное чтеніе протокола.

Послѣ подписи онъ объявилъ:

— Гг. Малышева, Пругавина, Анзимірова прошу оставаться. Вамъ придется еще дать кой-какія показанія въ жандармскомъ управленіи.

Это было сказано дѣловито и съ отгѣнкомъ грусти.

— Значить, мы арестованы?

— Да... на время, конечно... Впрочемъ, вы привѣщаетесь лишь какъ свидѣтели...

— Но для чего же арестовывать свидѣтелей? — неумѣвали мы.

Онъ пожалъ плечами:

— Во всякомъ случаѣ я тутъ не при чемъ. Я дѣйствую по предписанію.

— Можно ли, по крайней мѣрѣ, написать писемъ роднымъ?

— Совершенно лишнее... Возможно, что васъ сегодня же отпустить. Зачѣмъ напрасно тревожить? Одѣвайтесь же, одѣвайтесь, господа, поскорѣе, у меня нѣтъ болѣе времени.

Расцѣловавшись съ остальными товарищами, другъ съ другомъ, съ дворникомъ, у котораго засверкала хорошая, теплая слезинка,—пошли садиться.

Насъ разсаживали по одному на извозчика, рядомъ садился жандармъ, и сани трогались, а за ними вслѣдъ—извозчикъ съ двумя жандармами, потомъ — слѣдующій арестованный и т. д.

Ротмистръ поѣхалъ одинъ впереди всѣхъ.

Поѣздъ замыкалъ становой.

Встрѣчающіеся по пути смотрѣли на насъ: одни—злобно: „попались, молъ, голубчики“, другіе—съ любопытствомъ и участіемъ.

День начинался ясный, солнечный. Несмотря на утро, уже сильно таяло.

Вороны и галки на „Бутыркахъ“ кричали совсѣмъ по-весеннему, возясь около гнѣздъ.

Предстоящая тюрьма какъ-то совсѣмъ не казалась страшной.

Но ѣхать арестованному подъ конвоемъ по городу почему-то было стыдно.

Въ эту ночь, какъ мы узнали потомъ, были произведены сотни обысковъ и арестовано 90 человѣкъ, преимущественно учащейся молодежи.

Изъ петровцевъ, кромѣ насъ, увезли въ тюрьму А. Люцернова и А. Вальтера.

Изъ универсантовъ — Мартынова, Лебедева, Викторова, Иванова. Изъ техниковъ — Фридензона (впослѣдствіи замѣшаннаго въ дѣлѣ 1 марта) Ефрона, Андреева, Прозрителева.

Изъ болѣе солидной публики забрали инженера Тверитинова, чиновника и журналиста Макова, скрипача Деревщикова, рантье Любарскаго и др. Изъ

неакадемическихъ кружковъ Армфельда, Сирот Лебедеву и другихъ.

Всѣхъ арестовали какъ свидѣтелей „по дѣлу“ объ образованіи въ Москвѣ исполнительнаго комитета убійству шпіона Николая Васильевича Рейнштейна“.

Но кто образовалъ этотъ комитетъ и былъ дѣйствительнымъ убійцей, не знали, видимо, ни жандармы — „свидѣтели“...

Все „дѣло“ было построено на догадкахъ и предположеніяхъ, на основаніи смутныхъ доносовъ.



XI.

Въ тюрьмѣ.

Москва въ это время была „бѣдна“ тюрьмами.

Только что отстроенныя „Бутырки“ предназначались для уголовныхъ, пересылаемыхъ и наиболѣе тяжкихъ политическихъ.

Въ губернскую—политическихъ не сажали.

Тюрьма въ Каменщикахъ еще не „работала“.

Всѣхъ арестованныхъ развозили по одиночнымъ камерамъ при полицейскихъ частяхъ.

Насъ, петровцевъ, повезли въ ближайшую къ академіи—Сушевскую часть.

Вводили по очереди, по грязной, ослизлой каменной лѣстницѣ, въ верхній этажъ.

Тамъ, въ помѣщеніи „дежурнаго“, сонный и грубоватый помощникъ пристава лѣниво просматривалъ какія-то „бумаги“ и не сразу занялся нами.

Прежде всего онъ поручилъ „мушкетерамъ“ (тюремной полиціи) тщательно обыскать и прощупать каждого.

Они отводили насъ для этой операціи въ задній уголъ, гдѣ приходилось по ихъ настоянію разстегивать и полуснимать брюки, выворачивать карманы и т. д.

Деньги, карандаши, бумага, перочинные ножи, папиросы, клочокъ бумаги, даже иголки и нитки,—обязательно отбирались...

Нужно ли это было для славы и незыблемости возлюбленнаго отечества—нельзя было даже спорить.

Они исполняли свои обязанности, какъ автоматъ. Въ грязной, неуютной каменной дежурной комнатѣ отчаянно водочнымъ перегаромъ, махоркой, мокрой вѣжей и овчиной.

Полъ былъ грязенъ, заваленъ окурками и заплескался.

На деревянныхъ скамьяхъ у стѣны жались какіе-то личности, видимо, просители, а на полу сидѣли и стояли приведенные для допросовъ по дѣламъ уголовнымъ и скандальнымъ, ожидая очереди.

Письмоводитель за столомъ что-то усиленно строчилъ, глубокомысленно всматриваясь въ „чужую“ бумагу, видимо, раздражавшую его.

Никто особеннаго вниманія на насъ не обращалъ.

И лишь привезшіе насъ жандармы, ожидавшіе писокъ въ полученіи арестантовъ, имѣли видъ довольный и значительный:

„Пресѣкли, молъ“.

Когда они удалились и всѣ карманы, штиблы, какъ и сокровенныя части тѣла, были осмотрѣны и прощупаны, помощникъ пристава почти радостно сообщилъ:

— Ну, теперь кончено—можно по мѣстамъ.

Насъ повели внизъ по лѣстницѣ.

Въ лѣвый коридоръ съ 5 номерами помѣстили нашей партіи Малышева и Пругавина. Тамъ уже сидѣли Любарскій и петровецъ Люцерновъ, привезенные раньше.

Меня почему-то повели въ правую половину, гдѣ справа и слѣва, по обѣ стороны отъ моей камеры сидѣли какіе-то важные уголовные, тоже въ своихъ уголкахъ.

Это сообщилъ коридорный стражъ.

Входить въ темный, душный коридоръ, вдоль котораго шли камеры, было жутко и непріятно.

Думалось, вотъ-вотъ кто-нибудь бросится изъ темноты и начнетъ бить, душить или истязать.

Коридорный мушкетеръ нехотя отворилъ скрипучую толстую дверь, съ маленькимъ, круглымъ, прорѣзаннымъ въ ней окномъ, камеры № 3 и тускло произнесъ:

— Сюда!

Провожающій былъ любезнѣе и добавилъ:

— Въ часъ вамъ дадутъ ѣсть. А воду мы сейчасъ поставимъ. До вѣтру вотъ тутъ.

И онъ указалъ на уголь, гдѣ стояла отвратительная, желѣзная, издававшая зловоніе парашка.

Я не нашелся, что спросить у него.

Полицейскій офицеръ, видя, что имѣетъ дѣло съ новичкомъ, довольно мягко сообщилъ:

— Коли вы дворянинъ, то вамъ будутъ отпускать 22 коп. въ сутки, а прочимъ сословіямъ на продовольствіе— 11 коп.

— Но у меня свои деньги, рублей 6, отобрали,— робко заявилъ я.

— Можете на нихъ заказы изъ сѣбстнаго дѣлать, кромѣ спиртныхъ напитковъ... Этого у насъ не полагается!—захихикалъ онъ почему-то.

— Кому же заявить?

— Дежурному.

— А вамъ нельзя?

— Я смѣняюсь.

— Въ такомъ случаѣ будьте любезны вашему замѣстителю заявить, что я прошу на свои деньги купить чаю, сахару, хлѣба и газетъ.

— Газетъ нельзя.

— Почему же?

— Не полагается заключеннымъ.

— А бумаги?!—У меня мелькнуло желаніе записывать впечатлѣнія.

— И бумаги нельзя.

— У кого же просить?

— У товарища прокурора, какъ будетъ осматривать. Только это скоро не дадутъ,—послѣ допросовъ.

Онъ круто повернулся на каблукахъ и открылъ дверь; потомъ уже на порогъ какъ бы вспомнилъ:

— Если какое несчастье, заболѣте или что—заявите старшему.

— А какъ же?

— Черезъ окошечко въ двери. Онъ всегда въ коридорѣ. Звать—Кукушкинъ.

Затѣмъ глухо задвинулся тяжелый засовъ, щелкнулъ замокъ и весело зазвенѣла связка ключей, которую дежурный уносилъ съ собой.

Глупое чувство послѣ воли очутиться въ каменномъ клѣткѣ!..

Вдоль было шесть шаговъ, поперекъ—три съ половиной.

Окно—небольшое на высотѣ, выше роста человѣка съ пологимъ скосомъ, вмѣсто подоконника.

Толстыя желѣзныя рѣшетки особенно раздражали.

А противная парашка производила такое впечатлѣніе, точно вотъ отъ нее непременно разорвутся легкія.

Грязныя бѣленныя стѣны, выкрашенныя въ ростъ человѣка клеевой сѣрой краской, были обильно испачканы и испарапаны и носили пятна и трупы убитыхъ клоповъ.

Желѣзная кровать съ сѣрымъ солдатскимъ пахнущимъ потомъ сукномъ вмѣсто одѣяла, набитая соломою подушка и матрацъ, деревянный неокрашенный табуретъ и такой же небольшой столикъ съ оловянной кружкой для воды—вотъ и вся обстановка камеры.

Я сдѣлалъ взадъ и впередъ нѣсколько шаговъ. И вспомнилъ почему-то бѣлку въ колесѣ, которую держалъ у себя еще ребенкомъ.

Отъ этого сравненія стало какъ-то болѣзненно жалко самого себя.

Но мысль, вмѣсто анализа дѣйствительности, понеслась на волю, вдаль, къ воспоминаніямъ.

Мнѣ ярко вспомнился могучій и дикій Алтай, гдѣ я родился, со скалами, озерами, цвѣтущими долинами, вѣковыми темными лѣсами и привольемъ гордой природы...

„Вотъ, если бы отецъ былъ живъ, этого бы не было. Онъ бы не допустилъ“... промелькнула мысль.

И образъ отца, полковника корпуса горныхъ инженеровъ, жуира и добряка, съ солидными связями, всталъ какъ живой.

— Да, я—сирота, а потому и беззащитенъ. Мнѣ всего 17 лѣтъ. Кто за меня заступится?

Издали, изъ далекой Сибири, засвѣтились добрые заплаканные глаза провожавшей меня въ академію матери, прижавшія къ ней малыши-сестренки и уставившія куда-то вдаль братишка Николай. А сзади всѣхъ нихъ — сѣрые смотрящіе въ душу глаза дѣвушки, съ которой мы полу-ребятами еще рѣшили раздѣлить жизненный путь...

И тутъ же изъ тайника совѣсти всталъ упрекъ:

— Какой же я мужчина, если жалѣю себя?.. Ай-ай-ай!..

Мнѣ показалось, что я вижу, какъ укоризненно качаютъ головой: мать-спартанка, строгій учитель Словцовъ, дядя-либераль и юная невѣста.

Кровь бросилась въ лицо отъ жгучаго стыда. Сердце усиленно стучало.

Я поймалъ себя на малодушіи...

„А еще членъ „четвертака“, дѣятель!“ качали головой старшіе товарищи, жандармскій ротмистръ и нашъ дворникъ съ дачи... Стало нестерпимо позорно, стыдно...

Я ударилъ съ силой кулакомъ объ стѣну и засвисталъ какую-то веселую пѣсню.

— Пусть враги не злорадствуютъ... мы ихъ презираемъ!..

Выручила гордость.

Въ стѣнѣ слѣва четко раздалась какіе-то стуки.



ХІІ.

Всюду жизнь...

Я не догадался раньше узнать приемы перестукиваний, о которых слышалъ десятки разъ, такъ какъ не соби-
рался такъ скоро попасть въ тюрьму.

Бесѣда этимъ путемъ съ сосѣдями-товарищами по
заточенію была бы прекраснымъ отвлеченіемъ отъ роя
мыслей, съ которыми не справлялась голова.

Началь стучать наугадъ: авось, пойму, въ чемъ
дѣло.

Но, конечно, ничего не выходило.

И я услышалъ отчетливо произнесенное, раздавшееся
по коридору:

— Дур-р-ракъ!..

Мнѣ страшно захотѣлось вновь услышать чело-
вѣческій голосъ, хотя бы ругающійся.

— Кукушкинъ! — робко позвалъ я тюремного стража.

Но отвѣта не было. Видимо, онъ дремалъ гдѣ-нибудь
въ концѣ.

— Кукушкинъ! — почти крикнулъ я въ круглый
прорѣзъ двери, величиной съ пятакъ, и удивился звуку
собственного голоса. Онъ былъ чужой, хриплый, ту-
склый и уходящій куда-то вдаль.

Послышались шаги.

— Чяго орешь?

— Можно у васъ узнать, кто мои сосѣди?

— Да вѣдь сказано — уголовные.

— А за что сидятъ?

— Неизвѣстно.

— Нельзя ли съ ними поговорить?

— Стучи, мнѣ што жъ. Только, чтобъ старшій не услыхалъ.

— Да я не умѣю.

— Посидишь — научишься.

И онъ пошелъ прочь.

— Кукушкинъ!

— Ну-у?

— Чего же вы уходите?

— А что жъ мнѣ стоять около тебя? Намъ разговаривать не велѣно.

— Нельзя ли чрезъ васъ купить кое-что: бумаги достать, карандашъ, газетъ?

— Деньги есть?

— Есть, да ихъ отобрали.

— Нельзя.

— Я бы могъ достать еще съ воли, если бы вы сходили во время смѣны съ дежурства. Только бы написать два слова товарищу. Нуженъ карандашъ и клочокъ бумаги. Дostaньте, голубчикъ.

— Далече ли итти?

Я назвалъ улицу.

— Ну, что жъ...

Голосъ его сталъ замѣтно добрѣе.

— Погоди, поищу.

Черезъ нѣкоторое время у меня былъ полулистъ бумаги и огрызокъ карандаша, который онъ просунулъ въ дверное очко.

— А ты тово... поаккуратнѣе!

На маленькомъ лоскутикѣ я написалъ товарищу просьбу прислать 3 рубля. Остатокъ бумаги, ставшей вдругъ драгоценностью, сложилъ въ маленькій кусокъ и засунулъ въ солому матраца, разорвавъ слегка шовъ снизу.

Для карандаша прекраснымъ убѣжищемъ оказалась щель подъ отставшимъ карнизомъ около печи.

Кукушкинъ обѣщалъ доставить деньги завтра, но купить газету наотрѣзъ отказался.

— Попадешься съ тобой. Нипочемъ нельзя. Записку, если при мнѣ сожжешь, отъ родни либо товарищей—можно...

Условились на запискѣ.

Сразу стало какъ-то легче. Завязывалась связь съ волей. А стражъ вовсе не такъ свирѣпъ, какъ думалось прежде...

Новый дежурный Перхуровъ пришелъ „познакомиться“ около полудня.

Онъ, видимо, былъ пьяницей, добродушнымъ человекомъ и не формалистомъ.

— Люблю студентовъ: они разухабистые и начальству спуска не даютъ,—болталъ онъ при первомъ же посѣщеніи.

Ненависть къ начальству была, несомнѣнно, его постоянной мыслью.

— Изъ-за этихъ сволочей и пить сталъ,—откровенничалъ новый дежурный.

— Почему же?

— Сами первые хапуги, только тысячами берутъ, а нашъ братъ живи на одно жалованье! Черти, лицомъры!.. Подъ судъ, говоритъ, отдамъ... Я тебѣ покажу, подъ судъ,—грозился онъ кому-то.

И его голубые мягкіе глаза принимали злое, дерзкое выраженіе, а нижняя губа отвисала, какъ у старой лошади.

— Обѣдъ у насъ дрянъ, ѣсть не станете. А за колбаской, булочкой да чайкомъ я пошлю изъ вашихъ денегъ. Не обсчитаемъ, не беспокойтесь... хоть и полиція...

— Нельзя ли меня въ коридоръ къ товарищамъ перевести? Что же я одинъ съ уголовными,—рѣшился я попросить, поощряемый благодушіемъ дежурнаго.

— Не знаю. Справлюсь. Камера-то свободная есть тамъ. Только не жандармы ли васъ раздѣлить велѣли, тогда—нельзя. А коли дежурный отъ себя, то—можно... только—съ утра... До свиданья...

Когда спустились сумерки, и мрачныя тѣни полѣзли изъ угловъ, стало особенно тяжело и тоскливо.

Запахъ отъ грязной, плохо мытой, ржавой парашки, хотя и прикрытой неплотной крышкой, былъ нестерпимъ.

Онъ душилъ.

И то, что отъ нея, этой проклятой вони, уйти некуда, возбуждало ужасъ.

Наконецъ принесли маленькую лампочку.

И этотъ даже слабый свѣтъ ласкалъ.

Я сталъ умолять коридорнаго вылить парашку.

— Завтра, при уборкѣ, —невозмутимо заявилъ онъ. — Теперь не полагается.

Тюрьма вырабатываетъ особые характеры.

Взобравшись черезъ столъ и поставленный на него табуретъ къ окну, я замѣтилъ форточку, и открывающуюся притомъ.

Какое счастье!..

Разумѣется, я распахнулъ ее.

Ворвался уличный, холодный воздухъ.

Я упивался имъ и съ наслажденіемъ мылъ загрязненные легкія.

Ночью спалъ, не раздѣваясь, въ пальто.

Накрыться отвратительнымъ промозглымъ и пропотѣлымъ сукномъ-одѣяломъ было противно.

Утромъ меня перевели въ другой коридоръ къ товарищамъ: Люцернову, Малышеву, Пругавину и незнакомому, но тоже „политическому“—Любарскому.

Когда вели, я успѣлъ каждого посмотреть въ окошечко и заявить о себѣ, а съ сосѣдомъ Пругавинымъ даже поцѣловался языками.

Добрый Перхуровъ не мѣшалъ.

Карандаши и бумагу я, разумеется, захватилъ съ собою, такъ же, какъ и принесенныя Кукушкинымъ деньги, изъ которыхъ ему пришлось отдать полтинникъ.

Камера была такая же, но парашка почище.

Выучиться говорить стукомъ было легко.

На стѣнѣ написалъ азбуку (28 буквъ), расположенную въ 4 ряда, по 7 буквъ въ каждомъ:

Первый стукъ означалъ рядъ. Потомъ остановка и буква въ ряду.

Напримѣръ, а—одинъ стукъ, остановка и одинъ стукъ, б—стукъ, остановка и два стука и т. д.

Товарищи уже говорили между собой. Я постигъ тюремный телеграфъ въ тотъ же день.

Обѣды оказалось возможнымъ брать изъ кухмистерской.

А потомъ мы вошли въ соглашеніе и съ поваромъ изъ мушкетеровъ, который за 20 коп. въ день давалъ намъ недурныя щи, борщъ, кашу, изрѣдка — тушеное мясо.

По вечерамъ, когда начальство, жившее въ части (полицмейстеръ, приставъ), разѣзжалось по „нарядамъ“, въ театры, концерты и собранія, оказалось возможнымъ бесѣдовать непосредственно.

Для этого мы привязывали простыню къ рѣшеткѣ и, сидя въ этой люлкѣ, говорили въ форточку.

Когда дни стали подлиннѣе, этимъ путемъ играли даже другъ съ другомъ въ шахматы на шашечницѣ, устроенной на четвертушкѣ бумаги, размѣченной цифрами; фигуры и солдатъ мы сдѣлали изъ бѣлаго и чернаго хлѣба; каждый двигалъ, разумеется, обѣими партіями по указаніямъ цифръ квадратовъ, сказанныхъ въ форточку партнеромъ.

Посѣтилъ товарищъ прокурора и разрѣшилъ имѣть бумагу, чернила, карандашъ, книги и свое постельное бѣлье.

Это былъ радостный день.

Жизнь становилась содержательнѣе.

Одни выбрали себѣ опредѣленныя задачи: на примѣръ, внимательно пройти біологію Спенсера, исторію Гервинуса или философію Канта; другіе предпочли отдыхать душой на Гейне, Шиллерѣ, Шекспирѣ.

Два раза въ день къ намъ на окна прилетали голуби получить крошки хлѣба. Они, видимо, давно были приучены къ этому дѣлежу пищи съ арестантами.

Съ тремя коридорными - мушкетерами, мѣнявшимися каждыя сутки, отношенія были хорошія.

Особенно къ намъ расположенъ былъ одинъ, котораго мы сообщая чрезъ круглешокъ двери учили грамотѣ, рассказывали многое и читали ему этимъ же путемъ книжки.

На допросы насъ почему-то все не водили, хотя дежурные нѣсколько разъ заявляли, что „завтра непременно пришлютъ“.

Каждый изъ насъ написалъ въ жандармское управленіе и къ прокурору по нѣскольку прошеній, требуя допросовъ и освобожденія.

Но отвѣта никакого не было.

Подходило время экзаменовъ; мы готовились къ нимъ на всякій случай первое время, но потомъ мало-по-малу теряли надежду на скорую свободу. Прогулокъ и свиданій тоже не давали.

Большимъ развлеченіемъ было хожденіе разъ въ двѣ недѣли въ баню, подъ конвоемъ трехъ мушкетеровъ.

Когда откупорили окно, изъ квартиры полицмейстера по вечерамъ часто неслись по всему двору звуки рояля.

Мы иногда не выдерживали и шумными аплодисментами выражали одобренія.

Играла дочка полицмейстера. Эти похвалы образованныхъ „политическихъ“ были ей, видимо, пріятны.

Какъ-то она, вскорѣ послѣ нихъ, быстро сошла на дворъ розовая, довольная, взволнованная. Красивые

лучи заходившаго солнца золотили ея волосы и всю стройную фигуру.

Она внимательно разсматривала каждого изъ насъ, сидѣвшаго у открытыхъ оконъ, и имѣла видъ благодарный и виноватый.

— Изъ Шопена что-нибудь сыграйте!—просили мы.

Она кивнула головой и вскорѣ грязный тюремный дворъ наполнился чудными симфоніями, несшимися точно съ неба...



ХІІІ.

Д о п р о с ы.

Разъ около восьми утра къ намъ въ коридоръ пришелъ самый нелюбимый изъ помощниковъ пристава и заявилъ:

— Собирайтесь - готовьтесь! Сегодня къ допросу въ жандармское, по очереди.

И онъ открылъ мою камеру:

— Васъ перваго...

Такъ началось новое въ нашей жизни — допросы.

Возили кого въ каретѣ съ двумя жандармами, кого на извозчикѣ — съ однимъ.

Въ жандармскомъ тогда наибольшей извѣстностью пользовались офицеры Крыловъ, Каржавинъ, Чурсинъ, Поповъ, специализировавшіеся на допросахъ.

Сама обстановка въ этомъ учрежденіи особенная: все таинственно, всѣ перешоптываются, какіе-то коридоры, закоулки, откуда словно изъ - подъ земли появляются „нѣкто“ въ формѣ и статскіе.

Все время ждешь чего-нибудь неожиданнаго, гнуснаго и предательскаго.

Но, оглядѣвшись, впечатлѣніе мѣняется... Махорка въ передней, всепоглощающій запахъ „петрушки“ съ борящимся съ нимъ душнымъ благовоніемъ куриленъ, нѣсколько добродушнѣйшихъ русскихъ и хохлацкихъ лицъ и чей-то жирный смѣхъ уничтожаютъ всякую жуть.

Чувствуется, что это не средневѣковая инквизиція, а учреждение, россійски-безпутное, неряшливое, нелѣпое и ненужное.

Допрашиватели—недавніе кавалерійскіе офицеры, по-павъ по нуждѣ въ жандармы, изошряются въ новой специальности „чтеца сердецъ“, каждый на свой ладъ.

Одни любятъ „ошарашивать“ по-военному нежданностью переходовъ, точно фехтуются.

Другіе застрашиваютъ сперва, а потомъ на нѣжныхъ теноровыхъ нотахъ вкрадчиво уговариваютъ сознаться и распутать темное дѣло „ради справедливости и долга“.

Есть „сбиватели“, которые безпрестанно путаютъ показанія допрашиваемаго, переворачиваютъ ихъ на всѣ лады и бьютъ на то, чтобы онъ сконфузился, потерялся и „выдалъ“, что требуется.

Наиболѣе мудрые и опытные изъ жандармскихъ офицеровъ приспособляютъ, конечно, допросъ къ личности и характеру арестованнаго.

Они изучаютъ ее предварительно на совершенно частныхъ разговорахъ, которымъ стараются придать тонъ непринужденный, благовоспитанный и простецкій.

И лишь, подмѣтивъ какую-либо слабость, привязанность или черту характера, на которой можно играть, они приступаютъ къ „дѣлу“.

Это—наиболѣе искусные, добивающіеся чаще другихъ „интересныхъ“ показаній.

Допросы въ жандармскомъ—это собраніе предварительныхъ свѣдѣній, провѣрка ихъ перекрестными допросами, избличенія и т. д., чтобы приготовить матеріалъ для суда, административной высылки или освобожденія.

Но когда уликъ нѣтъ, обыскъ ничего не далъ и все подозрѣніе виситъ на доносѣ сыщика, вахмистра или глупомъ письмѣ, перехваченномъ на почтѣ,—положеніе допрашивателей прекомичное.

Они придумываютъ ловушки, хитрости и сами легко попадаютъ въ поддѣльную болтливость любого находчиваго юноши.

Совѣтуютъ быть откровеннымъ: „это - де облегчить участь и ускорить освобожденіе. Честный человѣкъ, которому нечего скрывать, не можетъ бояться откровенности“, увѣщаютъ они.

Коты въ синихъ мундирахъ щурятъ глазки на сидящую рядомъ мышку и предвкушаютъ:

„Вотъ, вотъ проболтается“...

Но мышки знаютъ про эти приемы допросовъ еще въ кружкахъ.

Онѣ „съ яснымъ взглядомъ“ заявляютъ готовность рассказывать „все“.

Въ предъявленныхъ карточкахъ обыкновенно вовсе не оказывается знакомыхъ.

Зато, взамѣнъ, подробно описываются примѣты разныхъ воображаемыхъ „тигрычей“, „ванекъ“, „бѣлыхъ шапокъ“ и т. п. псевдонимныхъ лицъ.

И если бы жандармы вздумали уловить ихъ, на основаніи неопредѣленныхъ портретовъ, нарисованныхъ допрашиваемыми, то пришлось бы арестовать все населеніе обоаго пола любого города, старше 13 лѣтъ.

Эта поддѣльная откровенность въ описаніи мѣстъ безъ точнаго адреса и разныхъ анонимовъ, не существующихъ въ природѣ, — обычное средство самозащиты юнцовъ, не научившихся еще искусству словесныхъ турнировъ или гордому презрительному молчанію болѣе опытныхъ.

Цѣль допросовъ всѣхъ 90 арестованныхъ была — узнать участниковъ образованнаго, по жандармскимъ свѣдѣніямъ, въ Москвѣ исполнительнаго комитета и убійцы шпіона Рейнштейна.

На выясненіе этихъ фактовъ прямо или косвенно были направлены всѣ вопросы.

Изъ осмотра комнаты въ номерахъ Мамонтова, гдѣ нашли трупъ, полиція узнала, что при убійствѣ, несомнѣнно, присутствовала женщина.

Тамъ оказались: на столѣ—черепашовая головная грбенка, на комодѣ—муфта и перчатки.

Въ передней, кромѣ того, валялся чей-то батистовый платокъ безъ мѣтки, который отнесли тоже къ туалету таинственной дамы.

Разумѣется, всѣ, кто зналъ или подозрѣвалъ о возможности участія въ этомъ дѣлѣ красивой Ольги Сеньковской или энергичной Прасковьи Ивановской, давали такія описанія знакомыхъ Рейнштейну женщинъ, которыя менѣе всего на нихъ походили...

Допросы въ судѣ, куда насъ стали возить позжѣ въ каретахъ, въ сопровожденіи молодыхъ, обучающихся жандармскихъ поручиковъ и штабъ-ротмистровъ, были обставлены куда хитрѣе.

Тамъ насъ по полдня морили голодомъ, въ неотлучномъ обществѣ привезшихъ офицеровъ и наиболѣе ретивыхъ любителей сыска, изъ кандидатовъ на судебныя должности.

Потомъ, измученныхъ непрекращающимися ни на минуту разспросами, по внѣшности похожими на дружескія бесѣды, насъ поодиночкѣ вводили въ какую-то комнату охраняемую жандармами у дверей.

Слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ и прокуроръ или товарищъ сухо и методично старались загонять насъ въ логическіе тупики, чтобы вырвать признаніе.

Они охотились спокойно, съ сознаніемъ своего безконечнаго превосходства, и все время дѣлали какія-то таинственныя, пугающія отмѣтки на поляхъ въ „дѣлѣ“ и на особыхъ листахъ, въ то время какъ кандидатъ быстро записывалъ показанія.

Особенно сердилъ всѣхъ пухлый и наглый хлыщъ—товарищъ прокурора.

Онъ то щурился, то пронзаль, чмокаль губами и покровительственно поощряль всякое неосторожное словечко, которое могло бы привести любого изъ насъ на каторгу. Отъ него пахло духами „chîpre“, а волосы блестѣли на проборѣ; усы носили явные слѣды завивки, а на одномъ изъ большихъ цѣпкихъ пальцевъ съ огромными холеными, но грубыми ногтями красовалась красивая камей, которую онъ изрѣдка разсматриваль, когда не хотѣлъ встрѣтиться взглядомъ съ своей жертвой.

Слѣдователь держался солиднѣе и приличнѣе.

Кандидаты вмѣшивались въ допросъ лишь по приглашенію старшихъ, и все свое искусство направляли на то, чтобы поиграть на отмѣченныхъ ими противорѣчій въ показаніяхъ.

Послѣ 2—3 часовъ допросы прерывались, и насъ или везли обратно въ тюрьму, или кормили въ судѣ, повиdimому, на личные средства „кандидатовъ“, желавшихъ воспользоваться случаемъ, чтобы отличиться „раскрытіемъ такого интереснаго дѣла“.

При этомъ предлагалась даже рюмка водки или бутылка пива, дурманившія на голодный желудокъ голову.

Особенно врѣзался у меня въ памяти одинъ такой типъ кандидата—Зуевъ, кончившій правовѣдніе.

Выпытавъ отъ меня, что въ числѣ моихъ товарищей дѣтства есть Михаилъ Кларкъ, тоже правовѣдъ близкаго съ нимъ выпуска, онъ, во имя „общаго товарищества“, убѣждалъ меня выдать „негодяевъ“.

При этомъ онъ клялся, что убѣжденъ въ моей невинности:

— Человѣкъ „изъ общества“ (онъ слыхаль про многихъ изъ моей свѣтской родни) не можетъ, разумѣется, быть въ кружкахъ нигилистовъ... N'est ce pas, mon chér? О я все сдѣлаю, чтобы спасти друга моего товарища! Но... и вы (онъ готовъ былъ выпить на брудер-

шафтъ) пособите, конечно, правосудію... У насъ общія, благородныя цѣли—борьбы съ преступленіемъ...

Самымъ труднымъ дѣломъ было скрывать ту безгливость, которую вызывали подобныя рѣчи...

Вечеромъ, возвращаясь въ тюрьму, мы, взобравшись на окна, обмѣнивались впечатлѣніями во всеуслышаніе.

— А и бестіи же въ судѣ! — формулировалъ свое настроеніе Люцерновъ.

— Почище жандармовъ, ловкачи! — подтверждалъ А. Пругавинъ.

— Недреманное око!.. А какіе мы были дураки, воображая, что жандармы—злодѣи, а въ судѣ сидятъ только слуги Ѳемиды!..—хохоталъ Сергѣй Малышевъ.

Но улова всѣмъ этимъ ловцамъ статскимъ и военнымъ мы давали мало.

Это насъ радовало, какъ дѣтей. И мы долго, иногда до полуночи дѣлились каждой мелочью изъ сдѣланныхъ наблюденій и всѣми подробностями особенно рискованныхъ показаній.

Ночью у желѣзныхъ рѣшетокъ, усталые и голодные, мы научались понимать людей и устои ненавистнаго намъ строя.

Какими жалкими, низкими и шаткими они намъ казались!



XIV.

Свиданья.— Невѣста.

Пришелъ апрѣль. Потеплѣло. Откупорили окна. Стало легче дышаться. Насъ, кромѣ того, стали водить на прогулки.

Возможность поразмѣять ноги на воздухѣ, однако, портилась обстановкой гулянья.

Они происходили въ палисадникѣ, внутри двора, гдѣ помѣщались казармы и сараи пожарныхъ и куда смотрѣли десятки оконъ задняго фасада трехъэтажнаго зданія части, участка, квартиръ служащихъ и присутствія.

Хотя дворъ былъ со всѣхъ сторонъ огороженъ зданіями и высокой стѣной, а у двухъ закрытыхъ воротъ день и ночь дежурили пожарные и городовые, но выпустить одного арестованнаго въ сопровожденіи мушкетера все же начальству казалось не безопаснымъ.

Передъ началомъ часовъ, назначенныхъ для прогулокъ, во дворъ входилъ взводъ солдатъ.

Унтеръ командовалъ „вложить патроны“, затворы берданокъ щелкали, и солдаты располагались затѣмъ вокругъ палисадника, съ ружьями наперевѣсь, готовые „запороть“ штыкомъ или пристрѣлить...

Насъ, видѣвшихъ всѣ эти приготовленія, выводили по одному.

Впереди шелъ мушкетеръ, за нимъ— гуляющій, а сзади— помощникъ при оружіи.

Кружиться въ крошечномъ палисадникѣ при этой обстановкѣ, встрѣчаясь съ подозрительно слѣдящими, часто злыми глазами солдатъ и десятковъ глазѣющихъ, какъ на звѣря, изъ оконъ, было противно и унижительно.

Пругавинъ и я не могли выносить этой прогулочной Голгофы и послѣ двухъ опытовъ отъ своего права отказались.

Послѣ допросовъ стали разрѣшать и свиданья.

Къ Пругавину и Малышеву ходили братья, а къ толстяку Любарскому—жена.

Лишь мы съ Люцерновымъ сидѣли сиротами, такъ какъ близкой родни въ городѣ не имѣли и довольствовались гостинцами, которыми дѣлились товарищи, да новостями, приносимыми во время ихъ свиданій съ воли.

Особенно аккуратно ходила m-me Любарская—дочь жандармскаго полковника.

Она носила всѣмъ намъ газеты, запеченныя въ пирогахъ, письма на тончайшей бумагѣ, вложенныя трубкой въ кусокъ гусиного пера, заклееннаго желатиномъ и заложеннаго въ печенье и т. д.

Мы ее всеѣмъ не знали. Но искреннее спасибо часто передавали ей чрезъ мужа, а иногда писали сообща комичныя благодарственныя оды въ стилѣ Джавина:

„О ты, которая приходишь
Черезъ недѣлю въ нашу часть
И мужу лакомство приносишь
И насъ питаешь тоже всласть,
За все вниманіе такое
Отъ всѣхъ спасибо пребольшое
Прими прекрасная изъ женъ!..“

Разъ въ часъ, урочный для свиданій, отворяетъ мою камеру милый пьяница, помощникъ пристава Перхуровъ, и съ добродушно-лукавымъ видомъ хрюкаетъ:

— А къ вамъ невѣста на свиданье пришла...

— Что-о?..

— Невѣста... Какъ ее звать? А ну-ка?.. Иначе не пушу.

Невѣста?!.. Но та, которую я въ тайникахъ сердца считалъ своей будущей подругой жизни,—въ Сибири, на Алтаѣ. Не могла же она пріѣхать? Ей никто не могъ дать знать объ моемъ арестѣ... Я скрывалъ его даже отъ матери, жившей тамъ же...

Сердце застучало. Кровь бросилась въ голову. Я смутился и не зналъ, что сказать. Произнести же имя невѣсты здѣсь, въ тюрьмѣ, полицейскому офицеру казалось прямо святотатствомъ.

Я молчалъ.

— Ну, что же не пойдете, что ли?—грубо потрелалъ онъ меня по плечу.—Мнѣ не все ли равно, какъ ее звать?! Невѣста, либо такъ,—все едино, ваше дѣло... А дѣвчонка ничего... Смачная штучка...

И онъ захихикалъ гаденькимъ смѣхомъ.

— Ну, идите красотку свою цѣловать!.. А то еще уйдеть...

Наскоро набросилъ пиджакъ и сообщилъ на ходу Люцернову, что иду на свиданіе съ невѣстой...

Онъ въ отвѣтъ весело захохоталъ:

— Ишь, шельма, а отъ товарищей скрывалъ!..

Впереди шелъ Перхуровъ, слегка пошатываясь.

У меня отъ волненія заплетались ноги и сдавило горло...

Войдя въ дежурную, я увидалъ товарку по кружку саморазвитія Елизавету Яковлевну Елпатовскую.

Она стояла вся въ черномъ, стройная, какъ газель, смущенная, съ красными пятнами на персиковой кожѣ, сверкая черными глазами исподлобья, словно пугливая сельская школьница на экзаменѣ.

По программѣ, которую ей внушили въ кружкѣ, она при видѣ меня должна была броситься навстрѣчу (раз-

считывая, что и я сдѣлаю тоже) и непременно поцѣловаться.

Во время долгаго, горячаго поцѣлуя она должна была всунуть мнѣ въ ротъ три важныхъ записки ст. воли, въ облаткахъ, касающіяся „дѣла“ и показаній сидящихъ въ другихъ тюрьмахъ, для сообщенія товарищамъ.

А я, умиленный и обрадованный, долженъ былъ вынуть платокъ, утереть слезы радости, а съ этимъ вмѣстѣ спрятать въ карманъ, на глазахъ у офицера эту своеобразную почту.

Что именно такъ надо сдѣлать, я понялъ изъ факсона ея губъ, имѣвшихъ видъ, что вотъ-вотъ ее стошнить.

И если бы Перхуровъ не былъ пьянъ, онъ непременно замѣтилъ бы задуманную хитрость.

Зѣвать было некогда.

Я порывисто схватилъ ее за руку и быстро повелъ въ уголъ, гдѣ обычно устраиваютъ свиданья.

На ходу она поспѣшно вынула свои сокровища изъ рта и сунула мнѣ.

Второпяхъ одинъ цилиндръ выпалъ на полъ. Она тотчасъ же уронила платокъ, а я моментально поднялъ его, вмѣстѣ съ драгоцѣнной почтой.

Затѣмъ мы сѣли другъ противъ друга, оба молодые, взволнованные, неопытные, не зная, о чемъ говорить.

— Кланяются, — выдавила она изъ себя. — Сергѣй (ея братъ, теперь извѣстный писатель) половину экзаменовъ уже сдалъ *).

— А Черкасовъ?

— Тоже держать хорошо. Да наши вообще всѣ выдерживаютъ.

— Ну, а сестра Евдокія?

— Въ земство собирается.

*) Сергѣй Яковлевичъ Елпатьевскій,

Въ это время подошелъ Перхуровъ, мы замолчали.

— Что жъ вы стѣсняетесь? Вѣдь моя обязанность такая... А впрочемъ, я отойду на минутку...

Онъ посмотрѣлъ на часы:

— Свиданье еще пять минутъ. Можетъ приставъ прійти... донесутъ...

— Мы взглянули на него удивленно.

— Нѣтъ, вы не думайте просить, все равно не разрѣшу, потому — служба!

— Спасибо вамъ большое, Лизавета Яковлевна, что пришли,—процѣдилъ я.— Вы вѣдь первая...

— Я еще приду...—И она опять зардѣлась.

— Арестовъ больше не было?..

— Нѣтъ, не слышно... Всѣхъ тогда вычистили, кто *поинтереснѣе*. А васъ скоро освободятъ?

— Не знаемъ никто.

— Плохо вамъ?

— Нѣтъ... привыкли.

— Не нужно ли чего?

— Книгъ, если можно. Черкасовъ знаетъ какихъ. Вы скажете?

— Ну, вотъ еще!.. Конечно...

Перхуровъ подошелъ и молча показывалъ на часы и свое горло.

Мы крѣпко пожали руки. Сдѣлали оба норывъ къ поцѣлую для комедіи, но стыдливость пересилила.

Я оставался еще въ углу съ своимъ стражемъ, а она быстро, не оборачиваясь и ни на кого не смотря, энергично зашагала къ выходу.

— Вкусъ у васъ не дурень!—провозгласилъ Перхуровъ и загремѣлъ ключами.

Пришлось плестись въ свою кѣтку.



XV.

Подкопъ для освобожденія Натальи Армфельдъ.

Въ іюлѣ однихъ арестованныхъ стали выпускать подъ надзоръ полиціи, другихъ—высылать.

Въ числѣ высланныхъ были: Алексѣй Пругавинъ (умершій вскорѣ отъ скоротечной чахотки, заполученной въ тюрьмѣ, въ Вологодской губерніи), Сергѣй Малышевъ, Александръ Люцерновъ, Деревщиковъ, Маковъ и десятки другихъ.

Трудно сказать, чѣмъ руководствовались жандармское управленіе и администрація, назначая тѣ или другія кары.

Судебное слѣдствіе, несмотря на всю тщательность, не дало основаній ни для возбужденія дѣла ни для подкрѣпленія подозрѣній.

Но администрація этимъ не смутилась. Насъ наказывали за то, что полиціи, сыщикамъ и жандармамъ не удалось обнаружить истинныхъ виновныхъ.

Меня не только выпустили, но и разрѣшили остаться въ академіи.

Товарищи говорили, что такой „милостью“ я обязанъ былъ покойному директору Ѳ. К. Арнольдъ. Зная, что въ родствѣ съ тогдашнимъ президентомъ академіи наукъ гр. Ф. П. Литке (моя мать—Литке), онъ сообщилъ ему о моемъ арестѣ, при чемъ отъ себя далъ хорошій отзывъ обо мнѣ.

Графу, весьма близкому къ своему бывшему воспитателю великому князю Константину Николаевичу,

разумѣется, не стоило большого труда добиться такой незначительной „любезности“, какъ освобожденіе отъ каръ при отсутствіи доказанной виновности. Впрочемъ гласный надзоръ былъ все-таки учрежденъ.

Благодаря ему, прежде чѣмъ итти куда-нибудь въ гости, я долженъ былъ отдѣлаться сперва отъ ходившихъ по пятамъ „нянюшекъ“ (сыщиковъ).

Пассажи, проходные дворы, знакомые театры и такіе толкучки, какъ у Ильинскихъ и Сухаревки давали возможность закружить даже самыхъ ловкихъ и назойливыхъ.

А по вечерамъ, въ глухомъ уголкѣ, каюсъ, иногда приходилось самому переходить въ наступленіе: ужъ очень неумоготу было это безконечное преслѣдованіе...

„Четвертакъ“ нашъ потерялъ за это лѣто нѣсколько цѣнныхъ членовъ.

Одни (Сокольскій, Флоровскій) окончили весной курсъ и уѣхали изъ Москвы на практику, другіе (Личковъ, Любовъ) ушли „въ народъ“, а троихъ (Пругавина, Люцернова, Малышева)—выслали.

Всю работу пришлось распределить между оставшимися.

Новыхъ, не испытанныхъ въ виду тяжкаго „опыта“ обманутой довѣрчивости съ Рейнштейномъ, принимать пока не рѣшались.

Въ августѣ, когда я усиленно готовился къ переходному экзамену на III-й курсъ, пропущенному вслѣдствіе ареста, получаю приглашеніе къ старухѣ А. А. Армфельдъ (вдовѣ профессора).

Въ Бутырскую тюрьму вскорѣ имѣла прибыть ея дочь Наталья, ссылаемая вмѣстѣ съ другими кіевлянами на каторгу.

Здѣсь вся пересыльная партія должна была пребыть около 3 мѣсяцевъ, до саннаго пути.

Кто хоть разъ видѣлъ эту благородную мать-гражданку—никогда не забудетъ ее.

Она всей душой сочувствовала дѣятельности младшаго сына Коли и своей дорогой, чудной Наты. Она гордилась ими, жила одной съ ними жизнью, была готова для нихъ на все.

Но отчего бы не попытаться спасти ее, вырвавъ изъ вражескихъ рукъ?..

У ней окрѣпла мысль устроить ей побѣгъ изъ московской Бутырской тюрьмы.

Точный планъ зданій со всѣми подробностями добытъ ей уже удалось.

Она избрала совѣтчиковъ, которымъ рѣшилась доверить все: между прочимъ, Константина Вернера (въ послѣдствіи профессора Московскаго С. - Х. института) одного инженера *).

Планъ былъ дерзокъ, труденъ, но осуществимъ.

Предстояло прорыть 120 саженъ туннели и попасть въ намѣченную башню чрезъ полъ.

А тамъ захватить кого надо, при 3—4 энергичныхъ молодцахъ, было уже послѣдней, наиболѣе легкой частью задачи.

— Анна Александровна, мы вамъ поможемъ всѣмъ, что въ нашихъ силахъ, — сказалъ Вернеръ. — Но главная трудность — сохранить полную тайну и не вызвать подозрѣній сосѣдей и полиціи.

А инженеръ добавилъ:

— При самыхъ скромныхъ расчетахъ извлечь изъ подземнаго коридора придется никакъ не менѣе сорока кубическихъ саженъ земли, кирпичей и т. д. Спрятать такую массу свѣжаго грунта нѣтъ никакой возможности, если его ежедневно не вывозить.

Очевидно, помимо главной цѣли, необходимо создать маскировку въ видѣ подготовки какой-нибудь постройки, рытья подвала, колодца и т. д.

*) Фамилію забылъ.

А на всѣ эти работы надо предварительно имѣть разрѣшеніе, надо купить мѣсто хоть съ плохонькимъ домикомъ, откуда вести подкопъ, выгородить его высокимъ двойнымъ заборомъ, подвозить сюда, время отъ времени, кирпичъ и отвозить лишнюю землю.

Кромѣ того, личность и паспортъ подставного владѣльца не должны возбуждать никакихъ подозрѣній.

Землекопы, плотники и каменщики, разумѣется, могутъ быть лишь изъ „своихъ“, безусловно надежныхъ и умѣлыхъ въ работѣ, чтобы не выдать себя.

— Я такъ и думала приблизительно, — заявила Армфельдъ. — Что это можетъ стоить?

Никакой точной цифры ей, конечно, дать было нельзя, не узнавъ предварительно цѣну и условія покупки участка въ этой мѣстности, не составивъ плана фиктивной маскировочной постройки и т. д.

Черезъ нѣсколько дней она опредѣлилась примѣрно въ десять тысячъ.

Подставного владѣльца вскорѣ нашли — благолѣпной внѣшности, выдержаннаго и умѣющаго ладить и пить водку съ полиціей.

Несмотря на усиленные хлопоты, прошло болѣе трехъ недѣль, пока удалось все оформить.

Партія ссылаемыхъ на каторгу южанъ уже прибыла въ „Бутырки“, когда приступили къ работѣ.

Стоялъ конецъ сентября. Позолотившіяся деревья быстро теряли листья. Часто шелъ мелкій, упорный, надоедливый осенній дождикъ, порой смѣнявшійся ясными, бодрыми заморозками.

Изъ маскировочной работы подвала приходилось постоянно качать воду, а потомъ — сдѣлать надъ нимъ шатеръ изъ тесу.

Работа въ подкопѣ шла тише, чѣмъ рассчитывали.

Надо было то обходить старыя дощатыя канавы — канализаціи, то газовыя трубы, то наткаться на какіе-

то сваи и фундаменты, уцѣлѣвшіе отъ прежнихъ построекъ старой Москвы.

Въ подземномъ коридорѣ было душно и сыро.

Столѣтіями засорявшаяся всякими остатками почвы издавала нестерпимо удушливый запахъ.

Чтобы не быть залитыми водой, приходилось время отъ времени дѣлать ямы для стока воды и оттуда выкачивать ее наружу.

Подо всей улицей въ предупрежденіе обваловъ проваловъ, оказалось необходимымъ, дѣлать прочныя крѣпи изъ бревенъ.

Но самымъ копоткимъ дѣломъ было удаленіе земли, особенно по мѣрѣ того, какъ подземная галерея удлинялась.

Эта операція требовала ряда перегрузокъ изъ мѣшковъ въ ящики на колесахъ по проложеннымъ доскамъ снова въ корзины для подъема на блокахъ и т. д.

Подземная галерея, обходя препятствія, шла уступами, зигзагами. Надо было тщательно по компасу, ватерпасу и румбамъ наносить ее на планъ, чтобы не сбиться.

Анна Александровна каждый день спрашивала о ходѣ работъ.

И по мѣрѣ того, какъ онѣ затягивались, все болѣе и болѣе волновалась, торопя, прося, умоляя.

Недѣли, однако, быстро бѣжали, а дѣло не спорилось.

Измученная мать переходила отъ надежды къ отчаянію.

Разумъ подсказывалъ ей, что „додѣлать подкопъ не успѣть, что могила-каторга неизбежно поглотитъ ея жизнь, ея солнце, ея Нату“...

Работающіе выбивались изъ силъ и часто пренебрегали даже предосторожностями.

Подкопъ дошелъ только до половины, когда въ началѣ ноября партію каторжанъ повезли дальше, въ Пермь.

Работа сразу стала бесполезной.

Старуха Армфельдъ отправилась вслѣдъ за партіей, провожать дочку, съ твердою рѣшимостью попытаться устроить побѣгъ еще разъ, съ пути или изъ самой каторги, т.-е. изъ Кары.

И эта надежда да бодрья слова героини-дочери только и поддерживали старуху, у которой весь міръ сосредоточился на ея несравненной, чудной Наташѣ...



XVI.

„Земля и Воля“.

Первое вооруженное сопротивление при арестѣ въ Одессѣ оказалъ, какъ извѣстно, въ 1878 году В. Ковальскій.

Его за это казнили.

Въ „Землѣ и Волѣ“, органѣ партіи, издаваемомъ послѣ „Начала“, этому случаю были посвящены слѣдующія строки изъ большого стихотворенія на смерть Мезенцева, приписываемаго Ольхину:

„...Вотъ невѣста въ слезахъ...
Разстрѣляли вчера жениха, объявившаго смѣло,
Что не сдастся злодѣямъ пришедшимъ его
Оторвать отъ великаго дѣла“...

Потомъ сопротивлялись при арестѣ братья Ивичевичи въ Кіевѣ и тоже были казнены.

Казнили почти безъ уликъ, на основаніи однихъ доносовъ, догадокъ и плохо провѣренныхъ оговоровъ, предводителя дворянства одного изъ уѣздовъ Полтавской губ., Лизогуба, главнымъ образомъ за то, что онъ, какъ богатый человѣкъ, могъ *) оказывать помощь революціонерамъ, въ Кіевѣ—обаятельнаго человѣка, красавца и рѣдкаго оратора Валеріана Осинскаго, а также — Брантнера, Логовенко и т. д.

Послѣ процесса 193, закончившагося рядомъ приговоровъ къ каторгѣ, правительство усилило устрашенія и репрессіи.

*) Что онъ состоялъ въ центральной организаціи, жандармы тогда не знали; они лишь догадывались.

Открылся сезонъ казней и ссылокъ въ тундры и на каторгу.

Мирные пропагандисты, апостолы социализма, шедшіе прежде въ народъ съ глубокой вѣрой въ правоту своего дѣла и съ тайной надеждой добиться революціи *без-кровной*, безъ обидъ и насилій кому бы то ни было, тоже ожесточались.

Чѣмъ болѣе закрывались для нихъ всякіе легальные пути служенія народу, тѣмъ болѣе крѣпло сознаніе необходимости свергнуть ненавистный строй, стоящій на пути народнаго счастья—насильственнымъ путемъ.

Яркой выразительницей типа прежняго мирнаго пропагандиста (родственного во многомъ позднѣйшимъ толстовцамъ) была Софья Иларіоновна Бардина. Ее обрисовалъ въ извѣстномъ стихотвореніи Боровиковскій:

„Крестьянскіе лохмотья вмѣсто платья
Надѣвъ и снявъ преступно башмаки,
Я шла туда, гдѣ стонутъ наши братья,
Гдѣ вѣчный трудъ и бѣдняки...
Застигнута на мѣстѣ преступленья,
Съ поличнымъ я на судъ приведена...
Къ чему же тутъ свидѣтели и пренья?
Вѣдь я кругомъ уличена...
Оставь, судья, ненужные допросы!
Смотри я вся въ уликахъ: на плечахъ
Висятъ растрепанные косы,
Видны мозоли на рукахъ...
Тяжелую работой я разбита...
Но знай: въ душѣ моей, на днѣ
Тягчайшая изъ всѣхъ уликъ сокрыта —
Любовь къ родимой сторонѣ!..“

Но послѣ суровыхъ приговоровъ, вовсе не соответствующихъ тяжести вины и систематической травлѣ всякой интеллигенціи, шедшей въ народъ, хотя бы только съ культурно-просвѣтительными цѣлями, само правительство выработало изъ нихъ вмѣсто радикала-идеалиста болѣе боевой типъ.

Пропагандисты-проповѣдники превратились, усиленіями властей, въ активныхъ революціонеровъ.

Боевой лозунгъ, выставленный партіей „Земля и Воля“, не былъ заимствованъ изъ какихъ-либо теорій или вывезенъ изъ Европы.

Этотъ кличъ со временъ Разина и Пугачева сливался воедино широкія массы народныя, не потерявшія жажды волюшки, наголодавшіяся по „божьей землѣ“, вмѣсто—барской и государевой.

Но въ тѣ времена они могли сдѣлать лишь—

„Русскій бунтъ
Безсмысленный и безпощадный“.

Задачей партіи „Земля и Воля“ было направить стихійное движеніе, бунтъ—въ революцію.

Подобныя попытки вызвать, осмыслить и направить движеніе противъ строя, а не лицъ, дѣлали Дейчъ и Стефановичъ въ Чигиринскомъ уѣздѣ, а Дебогорій-Мокріевичъ—на Днѣпрѣ.

Землевольческая организація не раздѣляла народъ на пролетаріевъ и буржуа, на рабочихъ и крестьянъ, какъ стали дѣлать марксисты и соціалъ-демократы впоследствии.

Землевольцы не думали, что крестьянамъ predetermined исторіей быть тормозомъ прогресса, а рабочимъ однимъ принадлежитъ право распоряжаться жизнью и двигать впередъ человѣчество.

Всѣ слои населенія должны подвергнуться революціонной подготовкѣ. Таковъ былъ основной взглядъ.

Только при этомъ условіи, когда всѣ захотятъ иной, лучшей, болѣе справедливой жизни, должна совершиться соціальная революція съ возможно меньшимъ числомъ жертвъ.

Теорія классовой борьбы и экономического матеріализма, извлеченная изъ того же Маркса, на которомъ получали подготовку и мы, тогда не заслоняли отъ

нась жизни во всей ея полнотѣ, широтѣ и разнообразіи.

Изучая русское диссидентство — сектантство всѣхъ видовъ мы не могли не видѣть въ немъ исканій Бога, правды и иной болѣе справедливой жизни, *помимо* классовыхъ интересовъ. Эти миллионы ищущихъ не подходили подъ эти теоріи Маркса-Энгельса, созданныя въ иной исторической обстановкѣ.

Самоотверженіе всѣхъ видовъ, служеніе идеалу, мы сами, наконецъ, съ нашимъ бурнымъ порывомъ къ битвѣ за другихъ, — все это не могло быть опредѣлено мѣрками матеріализма и классовой борьбы.

Человѣкъ, какъ мыслящее, разумное, существо въ нашемъ, тогдашнемъ пониманіи покрывалъ собою классовыя понятія о купцѣ, землевладѣльцѣ, ремесленникѣ и т. д.

А *голова* казалась намъ органомъ куда болѣе значительнымъ и вліятельнымъ, чѣмъ брюхо.

„Человѣкобожіе“ (*homo homini deus est*) Фейербаха являлась, съ нашей точки зрѣнія, не новой религіей индивидуализма, а страстнымъ призывомъ къ культу личности и ея полной, абсолютной свободы.

Мы были скорѣе анархистами Крапоткинско-Бакунинской идеологіи, чѣмъ социалистами въ духѣ современныхъ социаль-демократовъ. И перспектива сытаго скотнаго двора съ равными порціями пици для всѣхъ двуногихъ не воодушевляли насъ.

Дѣйствительную кристаллизацію социальныхъ идеаловъ мы представляли себѣ какъ рядъ этаповъ освобожденія духа и тѣла одновременно.

Обще-россійской объединяющей революціонной организациі тогда еще не было.

Въ Вильнѣ, Варшавѣ, Кіевѣ были свои автономные центры, для которыхъ центральный комитетъ „Земли и Воли“, дѣйствовавшій изъ Петербурга, было лишь дружественной организацией, но не руководителемъ.

Но для Великороссіи типъ организаціи былъ не автономный, а заговорщическій, съ диктатурой центра, какъ и у теперешнихъ соціалъ-демократовъ большевиковъ.

Наиболѣе видными членами центрального органа „Земля и Воля“ считались: Преображенскій, Михайловъ, Плехановъ, Клеменць, Морозовъ, Перовская, Квятковскій, Тихоміровъ. Послѣ воронежскаго съѣзда въ него вошли: Желябовъ, Аксельроде, Стефановичъ, Засуличъ.

Пріѣзжавшіе въ Москву вожди постепенно налаживали и здѣсь мѣстное отдѣленіе.

Подъ впечатлѣніемъ казней и растущихъ репрессій росло и боевое настроеніе кружковъ.

Медленные результаты пропаганды многихъ обезкураживали.

Казненные, погибшіе и замученные братья, сестры, женихи, товарищи призывали уцѣлѣвшихъ изъ-за гробовъ къ отомщенію, взвинчивая нервы до маньячества.

Въ среду землевольцевъ вросла теорія террора, какъ *системы*, чтобы добиться измѣненія общественнаго строя.

Талантливымъ теоретикомъ и идеологомъ ея оказался спокойный и тонкій мыслитель—Н. А. Морозовъ *).

Покушенія на жизнь Александра II участились.

Одни сочувствовали имъ и принимали въ тѣхъ и другихъ планахъ прямое или косвенное участіе. Другіе, исходя изъ возмущенія предъ насиліемъ и народною психологіей, опозтизивавшей Царя-Освободителя, не мирились съ терроромъ, какъ системой борьбы, негодовали и протестовали.

Въ средѣ землевольцевъ зрѣлъ расколъ, который велъ къ неизбежному расчлененію партіи.

Сношенія Петербурга съ Москвой теперь поддерживалъ не прежній „почтальонъ“ Володька (Юхельсонъ).

*) Просидѣвшій 24 года въ Шлиссельбургѣ и 4 года въ другихъ тюрьмахъ нынѣ освобожденный.

а новый страстный, самоотверженный революционеръ, рыжій Захаръ, по прозвищу „морякъ“.

Обозначавшіеся вожди готовящейся къ расколу партіи — Преображенскій („юристъ“), подписывавшійся въ газетѣ „Земля и Воля“ — „Юр.“, и Желябовъ *) тоже часто заглядывали къ намъ, подготавливая каждый своихъ сторонниковъ. Одинъ (Преображенскій) — къ упорной организаціи революціонныхъ силъ въ духѣ народныхъ желаній (земли, чернаго передѣла, волн), не увлекаясь и не размѣниваясь на политической борьбѣ, куда звали ткачевцы. Другой — боевыхъ отрядовъ для уничтоженія наиболѣе реакціонныхъ носителей власти, начиная съ государя, измѣнившего началамъ великой эпохи освобожденія.

Обыски, аресты, высылки, казни шли непрерывно. И чѣмъ энергичнѣе боролось правительство, тѣмъ выше поднималась революціонная волна, тѣмъ сильнѣе закипали страсти.

Горсть фанатиковъ, рѣшившаяся на смерть, объявила войну главарямъ могущественнѣйшей изъ державъ, чтобы добиться лучшаго строя.



*) Желябовъ до конца былъ *противъ* раздѣленія партій и всячески старался предупредить расколъ.

XVII.

Желябовъ.—Гартманъ.—Столовая.

Петровская академія, которую въ радикальномъ мірѣ звали просто „Петровкой“, все болѣе становилась *центромъ* московской революціонной организаціи.

О нашемъ „четвертакѣ“ знали во всѣхъ главныхъ кружкахъ Россіи.

И не мало видныхъ и прославившихся революціонеровъ побывало у насъ, сперва—„учителями“, „агитаторами“, потомъ—„товарищами“.

Большинство изъ „четвертака“ и я въ томъ числѣ всячески боролись противъ „теоріи террора“, дѣлавшей за послѣднее время огромные успѣхи.

Плѣнительная поэзія правды и красоты будущаго строя, о которомъ мы мечтали, не мирилась съ тѣмъ, что для его достиженія неизбѣжны убійства и казни должностныхъ лицъ.

Будучи революціонерами по исповѣдуемой теоріи и своимъ запросамъ отъ жизни для *завтрашней* Россіи и всего человѣчества, мы въ практикѣ борьбы признавали все же единственнымъ оружіемъ—слово.

Мы вѣрили въ грядущую побѣду права и правды, истины и справедливости, въ неизбѣжность соціальной революціи, которая возстановитъ и осуществитъ всѣ „забытыя слова“ Евангелія. Народъ не можетъ рано или поздно не понять, что мы—его надежные друзья, и не встать на нашу сторону.

А послѣ этого—съ кѣмъ же тогда и воевать?

Старое погибнетъ, какъ куколка, изъ которой вышла бабочка.

И будетъ только новое, свѣтлое и прекрасное,—новый социальный строй. Глубокая вѣра въ народъ, его общину и устои, почти граничащая съ обожаніемъ, давала надежду завоевать новый строй *эволюціоннымъ* путемъ, минуя многіе ужасы и революціонныя бури, пережитыя Западомъ. „Россія—страна демократическая, безъ средняго класса, безъ сильной буржуазіи съ горстью служилаго дворянства, поддерживаемаго лишь искусственно“, думали мы. Мы не боялись жертвъ, т.-е. собственной гибели отъ рукъ палачей стараго строя. Эти жертвы казались даже неизбежными, какъ очищеніе и искупленіе. На трупахъ насъ погибшихъ долженъ былъ вырасти новый прекрасный порядокъ.



Коваликъ.

Но зачѣмъ пачкать святое, чистое дѣло какимъ-либо насиліемъ?

Пріѣзжіе, особенно же Желябовъ и Михайловъ, жестоко щелкали насъ за этотъ революціонный идеализмъ.

— Барское, сентиментальное воспитаніе заговорило... „Бо-бо“ жалко сдѣлать звѣрю, который терзаетъ нашихъ братьевъ и дѣтей,—гремѣлъ Желябовъ.

— Въ свѣтскій монастырь захотѣлось! Прекрасномысліе разводить, — вторилъ Михайловъ, по прозвищу „дворникъ“.

— А миллионъ медленно вымирающаго народа, запоротыхъ, замученныхъ, повѣшенныхъ — не жалко? Полутора миллионъ зря вымирающей русской дѣтвора!.. Стыдно!..

И зеленые глаза Желябова сверкали гнѣвомъ, становились черными, блестящими, пронизывающими. Онъ зналъ силу своихъ глазъ, напора и гипноза.

Но, хлеснувъ до крови, Желябовъ тотчасъ же смягчалъ тонъ и переходилъ на мягкія ноты любящей матери и близкаго друга.

Изъ глубины души, словно бесѣдуя непосредственно съ смятенной совѣстью слушателя, онъ ласкалъ ее—и грудными звуками бархатнаго голоса, и дѣтской улыбкой, и лучистыми глазами, искрящимися добротой. Онъ говорилъ о необходимости той революціонной поэзіи, въ которой мы выросли, о ея чарующей красотѣ и несокрушимости.

— Это наше духовное солнышко! — любилъ онъ повторять. — Отъ него все растеть и молодѣть.

„Но на ней одной нельзя сидѣть. Надо *дѣйствовать*, т.-е. бороться.

„И когда врагъ сражается оружіемъ, ему надо отвѣчать тѣмъ же. Мы только защищаемся. Это не личная воля,—это фатумъ, историческая неизбѣжность.

„Смерти ничтожнаго Людовика XVI никто не искалъ, особенно же казни его красивой, безпечной и глупой австріячки Антуанетты.

„Но роковая сила вещей и полное непониманіе имъ настроенія страны сдѣлали ихъ неизбѣжными. Онъ самъ рѣшилъ свою казнь—своимъ предательствомъ и попыткой къ бѣгству изъ страны, гдѣ онъ царствовалъ „не Божіей милостью“, а волею народа, пока тотъ не прозрѣлъ, и не понялъ своихъ тирановъ.

„Во время революцій есть лишь два выбора для ея сторонниковъ: или быть раздавленнымъ глупымъ слугаемъ, или сдѣлать все, чтобы нанести врагу возможно больше ударовъ, и рисковать собою сознательно, но зато съ надеждой на побѣду. Задача дня — добиться политической свободы.

Съ Желябовымъ трудно было спорить.

Но слушать его было и жутко и радостно.

Онъ умѣлъ наполнять всѣхъ бодростью, вѣрой и необычайной ясностью простой и прямолинейной мысли.

Желѣзная воля и сила духа чувствовались въ каждомъ его жестѣ, звукѣ голоса, походкѣ—во всемъ.

Но мы, противники террора, все же не сдавались, давая ему вмѣстѣ съ тѣмъ всякія „взятки“ въ видѣ доказательствъ: готовности къ самопожертвованію, смѣлости, находчивости и т. д.

Желябовъ хвалилъ за удачно выполненныя порученія и сѣтовалъ лишь, что „зря пропадаютъ такіе молодцы“.

А когда мы разъ наклеили прокламаціи на крыльцѣ и будкахъ генераль-губернаторскаго дома онъ даже хохоталъ, какъ ребенокъ:

— Ну, ловкачи!.. Ха-ха-ха!.. Вотъ удружили!

Гартманъ передъ началомъ подготовки своего знаменитаго покушенія на Александра II на полотнѣ Курской желѣзной дороги, подъ Москвою, тоже посѣщалъ насъ часто.

Онъ не сообщалъ намъ, конечно, своего плана, но часто заводилъ рѣчь о невозможности работы въ деревнѣ при настоящихъ условіяхъ, ссылаясь на свой собственный опытъ и разговоры всегда подводилъ къ неизбежности свергнуть власть насильственнымъ путемъ.

Ораторъ онъ былъ не изъ важныхъ, да и внѣшность имѣлъ зауряднаго мелкаго торговца русака.

Но когда его задѣвали, онъ умѣлъ отгрызаться и съ спокойной убѣдительностью сыпалъ доказательства: историческія, философскія, логическія. Онъ любилъ объдать въ нашемъ маленькомъ кружкѣ.

Жили мы эту зиму въ казенныхъ номерахъ и завели свою кухмистерскую. Участвовали въ ней: Викторъ Пругавинъ, Черкасовъ, Вальтеръ, Емановъ, я и пріѣзжіе.

Пищу готовили двухъ сортовъ: либо борщъ и щи, либо полужидкое рагу.

И то и другое варилось собственными силами, не мудрствуя лукаво, на плитѣ въ дежурной сторожей,

приправлялось жареной мукой съ лукомъ, и тащилось въ кипящей кастрюлѣ въ номеръ-столовую (№ 7—Вальтера).

Здѣсь дежурный обязанъ былъ приготовить хлѣбъ, вилки и ножи, мелкія тарелки для мяса и овощей и ополоснуть горячей водой умывальный тазъ, откуда мы неизмѣнно деревянными ложками „хлебали“, какъ въ деревнѣ, жидкую часть пищи.

Такой обѣдъ требовалъ на приготовленіе часа два не болѣе и стоилъ каждому около 14—16 копеекъ съ чаемъ послѣ него.

Всѣ обѣдающіе, по обычаю, участвовали въ складчинѣ.

Въ этой своеобразной кухмистерской перебивало много лицъ, ставшихъ потомъ извѣстными всему міру.

Кромѣ указанныхъ пріѣзжихъ, здѣсь обѣдали: Пекарскій, Дебогорій-Мокріевичъ, Дейчъ, Стефановичъ, Рубанчикъ, Преображенскій, Михайловъ и многіе другіе.

Не дешевизна и доброкачественность провизіи привлекали *сюда*, конечно, а возможность собираться и быть въ „своемъ обществѣ“, не возбуждая подозрѣній, даже между сторожами, изъ которыхъ нѣкоторые приватно занимались также и шпионствомъ.

Но чѣмъ больше сближались мы, сливаясь въ компанію, безусловно другъ другу довѣряющую, тѣмъ болѣе убѣждались, что теоретическія разномыслія, при всей нашей дружбѣ, неизбежно приведутъ, однако, къ распаду на разныя партіи.

Такіе вопросы все чаще и чаще возникали, и намъ всѣмъ становилось тяжело...



XVIII.

Арестъ типографіи. Крашеный Щедринъ.

То, что не удалось вполне довести до конца Н. В. Рейнштейну, додѣлали его преемники.

Петербургскую тайную типографію „Земли и Воли“ сослѣдили и нагрянули въ нее съ обыскомъ.

Людей, впрочемъ, захватили немного. Изъ пріѣзжихъ—москвичку Е. П. Дурново, привезшую деньги и рукописи, южанъ — Козловскую и Рубанчикъ, попавшихся въ засаду.

Въ числѣ дежурныхъ въ типографіи (нелегальныхъ) оказался и рыжій сибирякъ Николай Щедринъ *).

Онъ сидѣлъ въ моментъ прихода полиціи въ „кабинетъ задумчивости“, выходившимъ на выходную лѣстницу и къ наружнымъ дверямъ.

Пока пришедшіе ориентировались въ квартирѣ и разставляли караулы, находчивый Щедринъ, недолго думая, стремглавъ бросился къ выходу, гдѣ были оставлены лишь дворникъ и городской.

Одного, преградившаго дорогу, онъ сшибъ ударомъ въ грудь, а другому сунулъ подъ носъ револьверъ, и съ угрозой „не подходи, убью!“ скрылся въ ближайшемъ, знакомомъ ему, проходномъ дворѣ.

*) Впослѣдствіи дважды приговоренный къ смертной казни, сосланный на каторгу и переведенный въ Шлиссельбургскую крѣпость.

Сдѣлавъ два-три такихъ маневра, онъ замель за собой слѣдъ, ибо рано утромъ на улицахъ Петербурга прохожихъ мало, а встрѣчи съ постовыми городовыми, вооруженныхъ тогда однѣми пашками, онъ искусно избѣжалъ.

Оставалось пробраться въ надежную квартиру, чтобы одѣться, добыть денегъ, измѣнить внѣшность и исчезнуть изъ Петербурга.

Хозяева еще спали, и прошло не мало времени, пока горничная разбудила ихъ и объяснила о странномъ поѣстителѣ, пришедшемъ зимой безъ шапки, безъ пальто и въ „разсѣянномъ“ видѣ.

Чтобы отвлечь подозрѣнія прислуги, былъ пущенъ въ ходъ разсказъ о кутежѣ и романической исторіи.

Чудной баринъ спасался, оказалось, отъ ревниваго мужа, желавшаго его непременно убить безъ достаточнаго основанія.

Эта исторія всѣмъ понравилась.

Особенно много сочувствія она возбуждала у горничной, большой любительницы бульварныхъ романовъ, гдѣ смѣлый любовникъ, ловко ускользящій отъ преслѣдованій ревниваго мужа, — неизмѣнно герой.

Романическое объясненіе появленія въ солидной квартирѣ страннаго гостя шопотомъ передавалось прислугою всего дома, дошло до дворниковъ и полиціи, усыпляя всякія подозрѣнія.

Но Щедринъ и не думалъ здѣсь засиживаться. Избавившись какимъ-то чудомъ отъ неминуемой каторги, онъ рѣшилъ на время покинуть Петербургъ.

Огненно-рыжій цвѣтъ его волосъ, бороды, усовъ, рѣсницъ, бровей былъ настолько примѣтенъ, что, безъ перекраски, не было никакихъ надеждъ благополучно проѣхать куда бы то ни было по желѣзной дорогѣ, гдѣ, несомнѣнно, его должны были стеречь сыщики.

Онъ рѣшилъ немедленно перемѣнить цвѣтъ.

Но оказалось, что никто въ квартирѣ не знаетъ современныхъ тайнъ куафернаго искусства, превращаю-

щаго дамъ по желанію въ блондинокъ, шатенокъ или брюнетокъ.

Довѣриться же незнакомому парикмахеру считали не безопаснымъ.

Оставался одинъ способъ — попытаться произвести окраску домашними средствами на основаніи кой-какихъ знаній химіи.

Волосы предварительно вымыли содой, чтобы очистить ихъ отъ жира. А когда они просохли, стали по очереди смазывать по частому, тонкому гребню зубной щеткой растворомъ ляписа и пирогалловой кислоты.

Операція была копоткая, требующая большой аккуратности, чтобы не зачернить и кожу.

Усы и рѣсницы запачкали просто черной фаброй; прекрасная густая борода пошла подъ бритву.

Посидѣвъ минутъ двадцать на свѣту, передъ окномъ, Щедринъ совершенно почернѣлъ, превратившись въ брүнета.

Чтобы скрыть свѣтло-голубые глаза весьма неудобные для чернаго, какъ смоль, господина, купили темно-синіе консервы и съ такими же стеклами пенснэ.

Костюмъ добыли лихой, какой носятъ сомнительные люди, желающіе казаться „порядочными“: дѣльцы, сыщики, альфонсы и шулера.

Съ закрученными вверхъ усищами, прежде не подвергавшимися никакой муштровкѣ, въ пенснэ съ золотой оправой и въ одеждѣ фата — милѣйшій протыакъ Щедринъ совершенно не походилъ на самого себя и производилъ, несомнѣнно, отталкивающее впечатлѣніе.

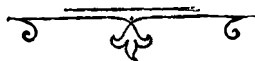
Отъ него, навѣрное, отказалась бы родная мать.

Въ такомъ видѣ онъ явился къ намъ на другой день въ Москву, сообщивъ всѣмъ на своей временной квартирѣ, что ѣдетъ въ Царское.

Дорогой дважды онъ встрѣчался съ лицами, несомнѣнно, кого-то высматривающими по вагонамъ.

Они съ нимъ перемигнулись, очевидно, принявъ за „своего“, и разошлись: онъ—въ задъ поѣзда, чтобы прыгнуть въ минуту крайней опасности, они—въ передъ.

Слѣдующая встрѣча произошла уже подъ Москвой, по проѣздѣ Клина. Щедринъ провелъ большую часть времени въ уборныхъ, а въ Химкахъ неожиданно сошелъ, когда поѣздъ уже тронулся—и отправился въ Петровско-Разумовское пѣшкомъ.



XIX.

Щедринъ въ Москвѣ. Убѣжище у полицейскаго.

Съ Черкасовымъ и мною Щедринъ былъ товарищемъ по сибирской военной гимназій, но старше насъ на 2 года.

Его выключили изъ послѣдняго выпускнаго класса за какія-то „дерзости“ директору, генералу Линдену, вмѣстѣ съ другимъ товарищемъ Кучукомъ. Официальнымъ мотивомъ былъ указанъ — приносъ въ стѣны заведенія водки и подговоръ воспитанниковъ къ пьянству и неповиновенію.

На самомъ же дѣлѣ оба были давно на примѣтѣ какъ свободолюбивые, развитые юноши, имѣвшіе вліяніе на товарищей.

Благодаря этому случаю, Щедринъ не пошелъ по ненавистной ему военной дорогѣ, которая для него, какъ казенно-коштнаго, была бы обязательной, а поступилъ въ учительскій институтъ, гдѣ и окончилъ курсъ блестяще.

Пробираясь въ Петровско-Разумовское, онъ надѣялся найти меня или Черкасова.

Но мы оказались оба въ Москвѣ, гдѣ въ это время заводили новыя „конспиративки“, а я состоялъ при



Черкасовъ (въ военной гимназій).

театръ въ домѣ Солодовникова, устроенномъ А. А. Бренко - Левенсонъ, обѣщавшей всю прибыль отдавать „на дѣло“.

Въ одной изъ „конспиративокъ“, въ домѣ Шаблыкина, въ Газетномъ переулкѣ, Щедринъ разыскалъ насъ лишь къ вечеру.

Узнать его не было никакой возможности. И когда онъ, тихо взойдя въ комнату, остановился противъ насъ, ничего не говоря,—его богомерзкій видъ вызвалъ самыя скверныя чувства...

Но едва онъ заговорилъ своимъ характернымъ, мягкимъ теноромъ, какъ мы догадались и поняли маскарадъ.

Бросились цѣловаться... Но Щедринъ строго удержалъ:

— Нельзя! Запачкаю.

Его собственное лицо, щеки и подбородокъ оказались въ черныхъ пятнахъ и черточкахъ. Это фабрика усовъ и рѣсницъ, покрываясь инеемъ и оттаивая, предательски выводила свои узоры, выдавая непривычнаго франта.

Оказалось—онъ страшно голоденъ, такъ какъ не ѣлъ цѣлыя сутки.

Сходили за „честной“ колбасой, хлѣбомъ, поставили самоваръ.

Загрязненные фабрикой усы страшно ему мѣшали. Какъ ни старался онъ освободить отъ нихъ ротъ, они упорно вмѣшивались и пачкали кусокъ хлѣба, который онъ только что собирался положить въ ротъ.

Это его раздражало. Несмотря на голодъ, брезгливость пересилила:

— Къ чорту усы!—рѣшилъ онъ.—Есть у васъ бритва?

Бритва нашлась у нашего пріятеля, швейцара Василя Егорова.

Черезъ четверть часа Щедринъ имѣлъ видъ актера на героическія роли.

— Ну, теперь будемъ ѣсть! А такъ еще лучше: меня никто въ Россіи не видалъ безъ бороды и усовъ; они вѣдь начали расти у меня еще въ гимназіи, въ Омскѣ.

Стали обдумывать, гдѣ и какъ ему лучше устроиться, хотя бы на первое время.

Паспорта не было никакого. Тотъ нелегальный, по которому онъ жилъ въ Петербургѣ, пришлось сжечь передъ отъѣздомъ, ибо, очевидно, послѣ открытія и ареста типографіи онъ никуда не годился.

День-два, не возбуждая подозрѣній, можно было переночевать въ „конспиративной“.

Но далѣе уже грозила опасность: могъ явиться дворникъ, и тогда терялась цѣнность и самой квартиры.

Вспомнили про общаго товарища, офицера К-ва, служившаго околоточнымъ или помощникомъ пристава въ московской полиціи.

— А вѣдь парень онъ не дурной,—заявилъ Щедринъ.—Я вообще противъ этихъ нелѣпыхъ предразсудковъ—судить людей по занимаемымъ ими мѣстамъ.

— Товарищъ, во всякомъ случаѣ, кажется, хорошій,—подтвердилъ Черкасовъ.

— Да вѣдь у насъ, сибиряковъ, это ужъ традиція,—замѣтилъ я:—кто бы онъ ни былъ теперь — противъ товарища не пойдетъ.

— Вѣрно, вѣрно! — захохоталъ Щедринъ.— Это, братцы, гарантія. А что онъ въ полицію пошелъ—суди его Богъ: мало ли какихъ обстоятельствъ въ жизни не бываетъ! Всюду есть хорошіе ребята. Но вездѣ, конечно, больше глупцовъ, пошляковъ и слюнтяевъ,—добавилъ онъ совсѣмъ серьезно.

Рѣшили разыскать К-ва и просить его пріютить на время Щедрина.

Квартира полицейскаго—это надежная крѣпость для политическаго бѣглеца!

К-въ, какъ мы и предполагали, согласился безъ всякихъ колебаній.

— Для товарища все!—твердо заявилъ онъ.—Спасибо за честь и довѣріе. Оправдаю. А надую —убейте!—прямо заявилъ онъ.

И тутъ же пояснилъ:

— У насъ уже получены депеши о розыскѣ и поимкѣ окончившаго учительскій институтъ дворянина Николая Щедрина, проживавшаго въ послѣднее время по слѣдующимъ подложнымъ видамъ на жительство (слѣдовалъ перечень). Онъ—важный политическій преступникъ, и за поимку его отличившемуся, независимо отъ поощреній по службѣ, будетъ выдана денежная награда въ три тысячи рублей.—Вотъ видите, московская полиція уже освѣдомлена.

Насъ взяли сомнѣнія... А вдругъ онъ соблазнится наградой и повышеніями? Вѣдь дѣло идетъ почти о жизни человѣка.

К-въ догадался о нашемъ смущеніи и первый прервалъ неловкое молчаніе:

— Товарищи, вы молчите потому, что васъ смущаетъ мой мундиръ. Я тоже на вашемъ мѣстѣ колебался бы. Вѣдь всѣ привыкли думать, что полиція—это сплошная помойная яма негодяевъ, отверженныхъ изъ общества, взяточниковъ, злодѣевъ... Отчасти этотъ взглядъ вѣренъ. Но—только отчасти. И среди насъ есть такіе, для которыхъ честь и совѣсть не пустые звуки. Рискую я страшно, но иду на это сознательно. Почему? Ради товарищей. Это нужно для моей совѣсти. Вѣдь иначе совѣмъ бы пересталъ уважать самого себя! Изъ прежняго помѣщика и богатаго наслѣдника я сталъ теперь нищимъ: проигралъ все въ карты. Дядя тоже разорился. Я пошелъ въ полицію... Съ женой, мамашей и сестрами за спиной некуда было больше дѣваться... Но я не сталъ отъ этого Іудой, продавшимъ Учителя за 30 сребренниковъ...

Мы молчали.

Онъ съ дрожащей слезой въ голосъ почти выкрикнулъ:

— Я -- нищій и состою на позорной службѣ ради семьи. Но ни за три, ни за тридцать тысячъ я не способенъ выдать товарища!.. Скорѣе застрѣлюсь!.. — тихо почти простоналъ онъ.

Становилось тяжело. Сердцемъ мы понимали его. Но ни на что не рѣшались до окончательной, послѣдней бесѣды съ Щедринымъ.

— Мы понимаемъ! — заговорилъ Черкасовъ. — Зачѣмъ касаться больныхъ ранъ? Не надо! Спасибо, спасибо! Большое товарищеское спасибо! Все передадимъ Николаю... все.

И кинулись крѣпко жать ему руки.

— Только сегодня я въ нарядѣ, вернусь поздно. Если онъ не побоится товарища, пусть переѣзжаетъ завтра часовъ въ пять вечера. Я предупрежу своихъ. Официально онъ будетъ значиться моимъ личнымъ письмоводителемъ, и я ему дѣйствительно буду давать кой-какія работы по отчетности, недоимкамъ и т. п. Это и для него безопаснѣе...

— Ладно! Спасибо еще разъ.

Кр-въ обоихъ насъ горячо поцѣловалъ:

— Вѣрьте, братцы! Я все прежній. А это только причина для корма, — указалъ онъ на свои полицейскіе погоны и портупю.

Провожая за дверь, онъ опять добавилъ:

— Вѣрьте! Это мое очищеніе и искупленіе.

Щедринъ категорически заявилъ, что „вѣрить можно“, и на другой день сталъ личнымъ письмоводителемъ помощника полицейскаго пристава.

Этимъ гостепріимствомъ товарища онъ пользовался, однако, немного, пока не добылъ себѣ надежнаго паспорта, съ которымъ и переѣхалъ въ меблированныя комнаты „Викторія“ (гдѣ теперь домъ кн. Горчакова), противъ Страстного бульвара.

Около мѣсяца живя здѣсь, онъ спокойно занимался организаціей кружковъ среди интеллигенціи и рабочихъ,

выступалъ ораторомъ на собраніяхъ, завязалъ вновь порванные съ Питеромъ связи и подготовлялъ возстановленіе крайне необходимой типографіи.

Я посѣщалъ его время отъ времени, обыкновенно по утрамъ. Но обычно мы предпочитали встрѣчаться въ нейтральныхъ мѣстахъ: въ кофейняхъ, пивныхъ, дешевыхъ трактирахъ, на бульварахъ и т. д.

Разъ прихожу и застаю у воротъ кучку полицейскихъ, во главѣ съ приставомъ, которые о чемъ-то говорятъ и посматриваютъ на окно комнаты Щедрина.

При моемъ приближеніи они замолчали.

Я удвоилъ шаги и потребовалъ, чтобы Щедринъ немедленно удиралъ чрезъ задній ходъ и проходной дворъ на Дмитровку, а дальше—въ „конспиративку“.

Но онъ торговался и находилъ, что я „преувеличиваю“.

Однако въ концѣ-концовъ надѣлъ на себя всѣ смѣны чистаго бѣлья, двѣ пары брюкъ, пиджакъ и сюртукъ, мѣховое пальто и шапку.

Въ номерѣ оставались лишь газеты да пустой чемоданъ.

Но уже, сходя внизъ, онъ вспомнилъ, что забылъ на столикѣ у кровати кожаный кисетъ съ табакомъ и старый отцовскій пенковый мундштукъ.

Несмотря на мои уговоры, онъ поспѣшно вернулся за этими драгоценностями.

Я подумалъ о сравненіи съ Тарасомъ Бульбой, погибшемъ изъ-за оброченной люльки: та же мощь духа и дикая, нелѣпая храбрость.

Когда онъ выходилъ съ своимъ кисетомъ изъ номера, нарядъ полицейскихъ съ товарищемъ прокурора, котораго только и поджидали, входилъ въ парадную дверь.

Его спасло только то, что на пути не попалось ни горничной ни коридорнаго и онъ догадался запереть номеръ на ключъ и взять его съ собою.

Пока полиція стучалась, предупреждала, стращала, взламывала дверь и принимала мѣры противъ ожидаемаго вооруженнаго сопротивленія, было выиграно время.

И когда они вошли въ пустую комнату, Щедринъ сидѣлъ уже въ „конспиративной“ и хихикалъ:

— Вотъ, чай, злятся! Красный звѣрь ускользнулъ изъ-подъ носа. Тю-тю тридцать радужныхъ бумажекъ въ награду за меня!..

Черезъ нѣкоторое время онъ уѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ вмѣстѣ съ своей женой, сестрой казеннаго Ковальскаго, былъ арестованъ, судимъ, приговоренъ къ смерти и сосланъ на вѣчную каторгу. За попытку избить смотрителя тюрьмы, оскорбившаго Ковальскую, его, вмѣсто новой грозившей казни, перевезли въ Шлиссельбургъ. До амнистіи онъ не дожилъ.



XX.

Распадъ „Земли и Воли“. Народоволюцы и чернопередѣльцы.

Усиливающіяся репрессіи и безпросвѣтность политическаго горизонта все болѣе выдвигали теорію систематическаго террора, какъ единственно возможнаго и достигающаго цѣли орудія борьбы съ давящимъ режимомъ.

Н. А. Морозовъ съ обычнымъ талантомъ написалъ объ этомъ соотвѣтствующій трактатъ.

Появилось много такихъ, у которыхъ была разбита вся личная жизнь.

У однихъ оказались загубленными: отецъ, мать, сынъ, невѣста, братъ, жена, сестра.

Другіе потеряли всякую надежду, силу и желаніе жить и искали случая подороже продать разбитое существованіе.

Нервное напряженіе дошло до крайности. Желябову приходилось уже не подогрѣвать, а сдерживать рвущихся на послѣднее единоборство за лучшую жизнь, хоть для другихъ.

— Не время сѣять сѣмена впрокъ, когда все рушится!—говорилъ онъ.—Но мы должны выполнить строго и послѣдовательно весь планъ политическихъ казней, чтобы добиться главнаго: учредительнаго собранія и свободы, хотя бы для нашихъ преемниковъ. Не мы, а исторія осудила палачей. Мы—простые исполнители ея властной воли.

Пропаганда „впрокъ“ даже среди городскихъ рабочихъ была оставлена.

Брали лишь готовые матеріалы, годные „на дѣло“, т.-е. на блестящую и краткую роль политическаго метеора.

— Надо дѣйствовать и непрерывно, а не разговаривать!— слышались постоянно призывы вождей.

Такъ говорили будущіе „народовольцы“, отказавшіеся отъ стараго знамени „Земля и Воля“.

Его сохранили лишь вѣрные старымъ завѣтамъ, болѣе уравновѣшенные и спокойные, не считающіе возможнымъ осуществить политическую революцію и новый строй безъ сознательной поддержки деревни, крестьянства.

Но и они находили лозунгъ „земля и воля“ недостаточно современнымъ и понятнымъ.

„Воля“, по понятіямъ массъ, была уже дана 19 февраля 61 года, свободы же въ смыслѣ правъ челоуѣка и гражданина—хартіи вольностей—крестьяне еще не понимали, а одно слово „земля“ ничего не обозначало.

Поэтому вѣрные программѣ партіи „Земля и Воля“ выбрали болѣе понятное и любезное для деревни требованіе: „черный передѣлъ“.

Недавніе друзья и товарищи размежевались. Вождемъ народовольцевъ сталъ Желябовъ, горячо протестовавшій противъ раскола, а во главѣ чернопредѣльцевъ выступилъ Преображенскій.

Въ петровскомъ, обновленномъ теперь, „четвертакѣ“ большинство осталось чернопредѣльцами. Въ него вступили: А. Бѣлевскій, І. Иллинигъ, О. Каменскій, И. Бенедиктовъ—все чернопредѣльцы.

Выбыли въ группу народовольцевъ, составившихъ свою организацію съ новыми лицами, только трое: братья Мѣрозы и Емановъ.

Несомнѣнно, что народовольцы представляли изъ себя болѣе яркіе революціонные темпераменты.

Своей удивительной изобрѣтательностью, стойкостью, выдержкой и самоотверженіемъ они дѣйствовали обаятельно и неотразимо даже на либерально буржуазные кружки, вслухъ осуждавшіе терроръ, но втайнѣ видѣвшихъ въ немъ единственное спасеніе и политическое освобожденіе.

Они были героями дня. И ихъ краткое, ракетное существованіе вспыхивало какъ сіянія зарницы, поселяя бодрость даже въ усталыхъ и извѣрившихся шестидесятникахъ.

Но настоящимъ революціоннымъ сѣменемъ, попадающимъ на подготовленную и благодарную почву, остались чернопредѣльцы.

Они взяли на себя трудную, тоже рискованную, но менѣе яркую и замѣтную работу—подготовку надежной арміи, какъ въ деревнѣ, такъ и среди пришедшихъ на отхожіе промыслы въ городѣ, но тоже въ сущности крестьянъ: фабричныхъ, мастеровыхъ, поденщиковъ, прислуги и т. д.

Чернопредѣльцы, какъ рабочіе волю, пошли упорной, но тихой поступью, вздирая новъ для массовыхъ посѣвовъ цѣльнаго и понятнаго крестьянамъ революціоннаго міровоззрѣнія.

— Что одушевляло ихъ, мирило съ ссылкой, каторгой, тюрьмами?

— Вѣра въ народъ.

— Что побуждало осуждать терроръ?

— Глубокая идеализація революціи и твердое убѣжденіе, что никакая серьезная и прочная перемѣна строя невозможна въ Россіи безъ *соціальной* революціи, безъ крестьянства, составляющаго девять десятыхъ ея населенія, на почвѣ однѣхъ политическихъ реформъ, добытыхъ убійствами и запугиваніями правительства.

Соціализмъ разсматривался чернопредѣльцами не какъ выводы изъ ученія Маркса-Энгельса о происхожденіи буржуазіи, классовой борьбы и экономическомъ

матеріалізмъ, а какъ возвратъ къ естественному праву и этикѣ, выраженной въ первичной религіи индійскихъ Ведъ, буддизмъ, въ Библии и особенно ярко — въ Евангеліи.

Это былъ социализмъ освобожденнаго отъ предразсудковъ и вредныхъ пережитковъ *духа*, а не сухіе, доктринерскіе выводы только изъ ученій экономистовъ, раздвинутыхъ искусственно и произвольно въ степень непреложныхъ социальныхъ и этическихъ законовъ какого-то категорическаго императива метафизики.

Въ этомъ коренилась сила и слабость идеологіи чернопередѣльцевъ. Сила — въ ея связи съ народомъ, его духомъ, исторіей и укладами; слабость — въ безбрежной широтѣ, близкой къ анархизму Л. Толстого, Кропоткина, Ницше, создавшей заоблачное пареніе высоко надъ землей и далеко отъ отвратительной и низкой дѣйствительности, съ большимъ загадомъ — сразу социальную революцію, безъ всякихъ переходныхъ ступеней.

Народовольцы, особенно мелкія сошки, свысока относились къ чернопредѣльцамъ, считая ихъ трусами, ругая „культуртрегерами“, „мечтателями“ „буржуями“ и т. д.

Чернопредѣльцы, въ свою очередь, считали все ученіе и дѣятельность народовольцевъ нервнымъ эксцесомъ, жизнью поденки, погоней за призракомъ политической революціи. Они уважали ихъ героевъ и вождей, но не любили шумливыхъ и хвастливыхъ прозелитовъ терроризма, присвоивающихъ себѣ чужую славу и подвиги, недалъновидныхъ, узкихъ и самомнящихъ.

Мелкія любезности, какъ укрывательство бѣглецовъ и спасающихся, помощь арестованнымъ и сосланнымъ обѣ недавно дружественныя партіи, по инерціи, еще оказывали другъ другу.

Но конспирація велась у каждой партіи своя. И даже вожди не считали себя въ правѣ дѣлиться планами и тайнами.

Полиція и сыскъ этого долго не понимали, преслѣдуя одинаково членовъ обѣихъ партій, часто даже связывая ихъ въ фантастическихъ обвиненіяхъ, въ общія дѣла и приписывая общія преступленія.

Это было очевидной нелѣпостью.

Впрочемъ, администрація дѣлала и другія не менѣе несообразныя смѣшенія: народовольцевъ—съ ткачевцами, чернопредѣльцевъ—съ бунтарями бакунинскаго толка и даже съ земцами „конституціоналистами“, съ скромными и мирными культурфанатиками.



XXI.

Преображенскій.—Николай Андреевичъ.— „Морякъ“:

Левъ Михайлычъ Преображенскій, вмѣстѣ съ Клеменцемъ и Морозовымъ, былъ однимъ изъ редакторовъ „Земли и Воли“.

Худой, выше средняго роста, съ небольшою окладистой бородкой, глубокими сине-сѣрыми глазами, мягкимъ голосомъ, тонкими чертами лица и нѣсколько мѣшкватыми манерами, онъ не походилъ на обычное представление о заговорщикѣ, а скорѣе напоминалъ степеннаго учителя гимназіи или профессора.

Говорилъ онъ плавно, спокойно, красиво, искренне, логично, всегда съ большимъ знаніемъ вопроса, котораго касался, и той проникновенной убѣжденностью, которая дѣйствуетъ неотразимо.

Природная скромность и простота въ обращеніи, полное отсутствіе заносчивости и тона „вѣщателя“ и „наставника“, въ который часто впадаютъ посредственности и сектанты,—подкупали даже его политическихъ противниковъ.

Онъ не зажигалъ, какъ пылкій Щедринъ, не будоражилъ всей нервной системы, какъ многіе ораторы-истерики, не гремѣлъ и не потрясалъ толпы, какъ трибунъ, но завоевывалъ слушателей исподволь, спокойно и прочно, не прибѣгая ни къ какимъ эффектамъ или ораторскимъ приѣмамъ.

Преображенскій — это голосъ земли и русскаго подвижничества, тихій но твердый, мягкій но непреклонный, выкладывающій не спѣша и степенно всю неправду и горе, всѣ муки и обиды, надежды и чаянія, накопившіяся за тысячелѣтіе тяжелой исторіи Руси.

Ему, по праву, принадлежало положеніе вождя „чернопередѣльцевъ“.

Личной жизни для него не существовало. Онъ все былъ преданъ *дѣлу*, отдавалъ ему всего себя, готовъ на все.

Какъ революціонеръ, прошедшій серьезную школу, вождь, онъ не рисковалъ *зря* — берегъ себя.

Но только для того, чтобы принести возможно большіе пользы народу и особенно крестьянству, которое онъ любилъ болѣе всего на свѣтѣ.

Съ неизбѣжностью же ареста рано или поздно, долгой тюрьмой и ссылкой на каторгу — Левъ Михайловичъ не только давно помирился, но видѣлъ въ этомъ этапъ жизни — отдыхъ отъ нервной, напряженной постоянной работы, въ которой онъ сгоралъ, зажигая другихъ.

Его полюбила чуждая дѣвушка изъ нашихъ кружковъ, тонкая, чистая, глубокая.

И хотя никакихъ „объясненій“ между ними не было — онъ своимъ вѣщимъ сердцемъ понялъ это и загрустил.

— Хорошій она человѣкъ, знаю и чую, — говорилъ онъ намъ, — да что я могу ей дать? Вѣдь я *чужой*, я самъ себѣ не принадлежу. Мечталъ и я когда-то о личной жизни... Потребность въ близкомъ человѣкѣ, родственной натурѣ, была огромная... Дѣтишекъ я страстно люблю... Ихъ образы, хорошая семья новаго склада, совместное воспитаніе долго манили... Вѣдь я педагогъ по всѣмъ склонностямъ!.. Но все это я похоронилъ и взялъ себя въ руки. Не такое время мы теперь переживаемъ, чтобы человѣкъ, поддавшійся искусу семейнаго счастья, могъ продолжать уважать себя... Наша семья пока — вся Россія. И дробиться никакъ нельзя!.. Это

было бы преступленіе противъ будущей жены, дѣтей, а главное—противъ родины...

— Вотъ развѣ послѣ каторги, на поселеніи, о тихой пристани у семейнаго очага подумаемъ... Да, пожалуй, ужъ поздно тогда будетъ!—съ болѣзненной улыбкой прибавилъ онъ.

— Но какъ же вы поступите, если „она“ сама первая вызоветъ на объясненіе?

— Скажу, что и я люблю ее—какъ товарища, сестру, а дальше... дальше время само покажетъ. Оно лучше и надежнѣе разрѣшаетъ и исцѣляетъ, чѣмъ самые тонкіе и деликатные разговоры. Разумѣется, о каторгѣ говорить не буду: для героическихъ натуръ, какъ она, это—масло въ огонь...

Преображенскій одинаково хорошо могъ говорить среди самаго смѣшаннаго общества,—учащейся молодежи, между рабочими, какъ и съ крестьянами.

И всѣмъ нравился.

Глубокая, идущая изъ тайниковъ души, искренность—это то, что ищутъ всѣ люди, о чемъ всѣ наголодались.

А у него, кромѣ нея, были въ запасѣ основательныя знанія, выдержка, рѣдкая доброта, наблюдательность и—что самое цѣнное—несокрушимая вѣра.

Вѣра въ идеаль, которая, какъ свѣточъ, на многіе десятки и даже сотни лѣтъ освѣщаетъ путь, по которому надо идти, чтобы Царство Божіе, заключенное въ насъ, свести съ неба на землю.

Мудрено ли, что при этихъ данныхъ онъ выдерживалъ сравненіе даже съ Желябовымъ и спокойно ограждалъ его кипучіе, стремительные натиски.

Правой рукой Преображенскаго, дѣйствующей по намѣченному плану, былъ Николай Андреевичъ (фамилію его мы не знали), пріѣзжавшій въ Москву на время отъѣздовъ Льва Михайлыча.

По духовному складу онъ близко походилъ на него. Такія сходства бываютъ обычно лишь между родными братьями.

Но они между собой ни въ какомъ родствѣ не состояли.

Это сходство было создано благодаря продолжительному общенію и несомнѣнному вліянію, которое оказывалъ на него Преображенскій.

Приземистый, съ густой бородой и большими темными глазами, Николай Андреевичъ тоже походилъ на солиднаго профессора. Онъ поддерживалъ сношенія, велъ переписку, снабжая насъ „литературой“, собиралъ деньги, вербовалъ новыхъ членовъ, организовывалъ кружки среди всѣхъ слоевъ населенія, давалъ обстоятельныя разъясненія по вопросамъ программы, справки и т. д.

Потомъ онъ исчезалъ на нѣкоторое время для такой же работы въ другихъ мѣстахъ.

И никто, кромѣ самыхъ близкихъ, не зналъ, куда онъ уѣхалъ и на долго ли.

Болтливость и разгильдяйство имъ строго осуждались. Онъ сторонился такихъ „друзей“, хотя бы и раздѣлявшихъ чернопредѣльную программу.

Кружки основывались независимо другъ отъ друга, тайные, сносившіеся съ центральной организаціей лишь чрезъ выборныхъ делегатовъ.

Этой системѣ научилъ опытъ и все увеличивающійся и совершенствующійся полицейскій сыскъ.

Даже при желаніи членъ одного кружка не могъ выдать ни другіе такіе же ни центральный органъ.

Кружки развѣтвлялись внизъ каждый самостоятельно, группируя новые изъ прозелитовъ, рабочихъ, приказчиковъ, крестьянъ, учащейся молодежи, офицерства, учителей и т. д.

Желябовъ не оставлялъ надежды—часть изъ бывшей общей землевольческой организаціи перетянуть въ народовольцы.

Но постоянно занятый добычей средствъ, подготовкой и устройствомъ террористическихъ актовъ, а также общей организаціей, онъ не могъ уже теперь часто бывать въ Москвѣ.

Его замѣнилъ партизанъ - народоволецъ „морякъ“ (фамилія мнѣ неизвѣстна), старавшійся поддерживать всѣ прежнія связи и знакомства, завязанныя Желябовымъ.

Рыжій, худой, съ лихорадочно-горящими глазами и подозрительнымъ румянцемъ, этотъ желябовскій посланецъ производилъ впечатлѣніе чахоточнаго въ послѣднемъ градусѣ.

Короткій, сухой, частый кашель подтверждалъ это предположеніе.

Но онъ увѣрялъ, что „совершенно здоровъ“, „чувствуетъ себя прекрасно“, не любилъ говорить на личныя темы и тотчасъ же переходилъ „къ дѣлу“, т.-е. къ программѣ народовольцевъ.

Онъ былъ фанатикомъ, и весь ушелъ въ „работу“.

Горячо и соблазнительно развивалъ онъ вѣроятное близкое освобожденіе Россіи, если осуществятся всѣ ихъ планы.

Иногда ему важно было найти вѣрный ходъ къ какому-нибудь должностному лицу, или справку, иногда требовалась рекомендація къ какому-нибудь изъ „сочувствующихъ“ либераловъ, чтобы добыть отъ него денегъ, иногда — указаніе надежной квартиры. Но чаще онъ являлся просто убѣждать насъ бросить „чернопередѣльческія идилліи“ и перейти въ народовольцы, гдѣ одинъ энергичный, дѣльный парень стоитъ, по его словамъ, „цѣлаго полка“.

— Но вѣдь негодяевъ больше, чѣмъ героевъ, готовыхъ отдать свою жизнь, чтобы избавить Россію отъ какого-нибудь особенно вреднаго или свирѣпаго чиновника! Вашъ расчетъ, очевидно, невѣрный, — возражали мы.

— Какое заблужденіе! — вспыхивалъ „морякъ“. — Да вѣдь, если бы сразу убрать полсотни мерзавцевъ, остальные бы хвосты поджали. Вы забываете, что подлецы обычно трусливы и любятъ свою шкуру...

— Ну, это невѣрно, положимъ. И среди величайшихъ эгоистовъ, сибаритовъ и негодяевъ не мало храбрыхъ. Возьмите хоть собирательный образъ бабника въ Донѣ-Жуанѣ, или историческихъ палачей, какъ—Малюта Скуратовъ, Аракчеевъ, Муравьевъ—всѣ они были и храбры. Храбро сражались съ революціей и французскіе маркизы, и темные вандейцы, и дикіе татары, турки,—да сколько хочешь примѣровъ...

— Но строй нашъ сгнилъ. Онъ держится на небольшомъ кружкѣ лицъ...

— Отнюдь нѣтъ!—возражали мы.—Его поддерживаютъ массы дворянства, купечества, чиновничества,—всѣ тѣ, кому при немъ живется хорошо. А главное—темное тупое и покорное войско, загипнотизированное присягой, и и особенно — народъ, у котораго, благодаря невѣжеству и забитости, не проснулась еще политическая мысль, который всѣ упованія возлагаетъ на милости свѣще, на подачки...

— Вздоръ! Народъ такъ подавленъ нуждой и властью, что ко всему безразличенъ. Онъ присягнетъ любому правительству и будетъ ему искренно преданъ, если оно дѣйствительно позаботится объ его интересахъ...

Онъ задыхался, кашлялъ, но спорилъ безъ конца.

Мы расходились, конечно, не убѣдивъ другъ друга. „Морякъ“ былъ олицетвореніемъ точности и аккуратности, рабъ слова и долга.

Всегда, безъ малѣйшаго опозданія, являлся онъ на условенныя свиданья, неизмѣнно живой, дѣятельный, энергичный, весь преданный дѣлу.

— И въ чемъ-то только держится этотъ могучій духъ?—не разъ говорили между собой мы—его политическіе противники, преклонявшіеся передъ его силой воли.

Онъ и умеръ на своемъ посту.

По поводу его смерти сложилась цѣлая легенда.

Говорятъ, за нѣсколько часовъ до послѣдняго часа, который онъ ожидалъ и зналъ отъ врачей его зловѣщіе признаки, „морякъ“ написалъ рядъ дѣловыхъ писемъ, передалъ всѣ адреса, деньги и порученія въ надежныя руки для врученія замѣстителю, сжегъ свой паспортъ и оставилъ занимаемую имъ конспиративную квартиру, чтобы своей смертью не прервать ея службы.

Потомъ нанялъ извозчика къ Александровскому саду (дойти уже не хватало силъ), простился съ хозяевами и уѣхалъ.

Здѣсь, подъ мостомъ, ведущимъ въ Кремль, въ мучительной агоніи „морякъ“ докончилъ свою службу родинѣ, для которой только и жилъ.

Его бездыханное, уже остывшее тѣло подняли лишь на другой день и отвезли въ мертвецкую при участкѣ.

Въ полицейскомъ протоколѣ значилось, что „найденъ трупъ опившагося неизвѣстнаго мужчины“.

Тайны своего великаго гражданскаго сердца „морякъ“ унесъ съ собою. Обычная скромность и исполненіе долга не покинули его даже въ послѣдній часъ.



**Пожаръ въ академіи. — Повальный обыскъ. —
Фаресовъ.**

Про Петровскую академію въ высшихъ сферахъ Петербурга рассказывали, какъ про сплошное гнѣздо „террористовъ¹⁾ и разбойниковъ“.

— Помилуйте, пугали другъ друга тайные, статскіе и иные „совѣтники“, — у нихъ типографіи, склады оружія, всякой нелегалычины... Они насъ всѣхъ перерѣжутъ...

— Казачковъ бы на нихъ... Поостудить немножко! — совѣтовалъ старенькій генералъ съ боевыми отличіями.

— Ихъ въ Сибирь всѣхъ, — рѣшила пухленькая дама съ большимъ разрѣзомъ лифа на груди, „пріятная во всѣхъ отношеніяхъ“, у которой эти скучные и странные разговоры грозили испортить весь званый вечеръ, устроенный съ большими жертвами и семейными непріятностями.

Эти пересуды, расплзаясь по гостинымъ и будуарамъ кокотокъ и подкрѣпляясь „самыми достовѣрными разсказами“ очевидцевъ о „звѣрствахъ“ петровскихъ нигилистовъ, дошли, наконецъ, и до „кого слѣдуетъ“.

Въ концѣ зимы 1879 года было рѣшено произвести въ Петровско-Разумовскомъ у всѣхъ студентовъ и вольнослушателей тщательный, повальный обыскъ.

¹⁾ Изъ 368 студентовъ въ 1879 г. лишь трое принадлежали къ партіи на родовольцевъ.

Добродушному „хозяину Москвы“, кн. В. А. Долгорукову, оставалось только подчиниться.

Но директора академіи, О. К. Арнольда, онъ все же „успокоилъ“ и заявилъ, что лично онъ не вѣрить „баснямъ“ про академію.

А нагнувшись къ уху, даже добавилъ:

— Это походъ съ пушками на воробьевъ... *C'est le mot.* Но что же дѣлать! *тамъ* всему вѣрять.— И онъ пожалъ плечами.

Утѣшеніемъ для него служило лишь то, что „сферы этимъ путемъ, по крайней мѣрѣ, убѣдятся, что въ первопрестольной все благополучно“.

Эскадронъ жандармовъ и нѣсколько сотъ извозчиковъ съ сидящими на нихъ приставами, помощниками, околоточными и городовыми были двинуты разными путями, вечеромъ въ Петровско - Разумовское и на Выселки „разорять революціонное гнѣздо“.

Среди атакующихъ было болѣе тысячи сабель и нѣсколько сотъ собранныхъ мѣстныхъ дворниковъ—сила болѣе чѣмъ достаточная для побѣды надъ тремя сотнями, безоружныхъ студентовъ.

По роковой случайности этотъ ночной походъ совпалъ съ пожаромъ въ корпусѣ аудиторій и лабораторій кафедръ земледѣлія, ботаники и агрономической химіи.

За нѣсколько дней до этого дня студенты, ассистенты, и служители, работавшіе въ лабораторіи земледѣлія, замѣчали удушливый дымъ, идущій отъ постоянно топящейся вытяжной печи при стеклянномъ шкапѣ, куда ставятъ въ песчаную баню колбы съ реактивами сѣроводорода и сѣрнистаго аммонія.

Но надзирающій печникъ при осмотрѣ ничего „особеннаго“ не нашелъ и ограничился чисткой трубы.

Дымъ, однако, не только продолжался, но настолько усилился, что даже мѣшалъ занятіямъ: ихъ пришлось прекратить.

Это было точно установлено потомъ тщательнымъ слѣдствіемъ властей и академической комиссіей. Пожаръ подготовлялся въ то время, когда мысль о повальномъ обыскѣ никому и въ голову не приходила.

Но въ то время, какъ полиція подѣзжала къ академіи, охвативъ предварительно кольцомъ все Петровско-Разумовское съ Выселками, въ этомъ корпусѣ, къ которому примыкають цѣнные оранжереи, вспыхнулъ пожаръ.

На академической колокольнѣ и въ сосѣднемъ селѣ Владыкинѣ ударили набатъ.

Рабочіе, дворники, служителя, крестьяне, студенты бросились къ пожару, который разгорался все сильнѣе.

Огненные языки, выбиваясь изъ оконъ, лизали крышу. Густой, клубящійся, черный дымъ, словно живая креповая рама, отгѣнялъ летящіе снопы искръ и потоки рвущагося пламени, окутывая все больше казенное зданіе таинственностью и своеобразной поэзіей.

Бляхи и пуговицы городскихъ уже сверкали вокругъ горящаго корпуса, гдѣ безпорядочно суетились сотни сбѣжавшихся, выносившихъ и ломавшихъ вещи изъ квартиръ профессоровъ, ассистентовъ, служителей, садовниковъ и сторожей.

Небольшая кучка толкалась около единственной прибывшей пока пожарной машины, разбирала рукава и дико въ десятокъ голосовъ орала въ пространство:

— Воды! Воды!

Но ее никто не везъ и не несъ.

Изъ охваченнаго огнемъ зданія раздавались какіе-то подозрительные трески, похожіе на слабые выстрѣлы, а потомъ, по временамъ—и оглушительные взрывы.

Толпа шарахалась отъ нихъ въ сторону, давя другъ друга, спотыкаясь о пожарный рукавъ, кустики и домашній скарбъ. Впереди всѣхъ стремглавъ носились полицейскіе, расталкивая публику и неистово ругаясь.

Взрывы происходили, видимо, отъ бутылокъ керосина, бензина и газа, употреблявшихся въ лабораторіи.

Мелкіе выстрѣлы, вѣроятно,—отъ лопавшихся отдѣльныхъ склянокъ.

Для полиціи стало очевиднымъ, что то, за чѣмъ они пріѣхали, несомнѣнно, въ огнѣ, который при отсутствіи средствъ тушенія, очевидно, уничтожитъ послѣдніе слѣды и улики.

— Ну, и бестіи! — восклицалъ молодой полицейскій офицеръ.

— Чисто сдѣлали... Ловкачи!..—почти съ завистью подтверждалъ другой.

Вскорѣ пріѣхали бочки съ водой. За ними—еще пожарная машина, багры, лѣстницы. Явился и становой съ двумя урядниками.

Но огонь бушевалъ все сильнѣе. Трещали уже стропила и желѣзная крыша. Рушились огромные шкапы съ коллекціями и приборами, полы и подъѣзды, поднимая облака дыма и золы.

Надеждъ потушить зданіе было мало.

Полиція сосредоточила всю энергію на борьбу съ огнемъ, надѣясь сохранить хоть часть уликъ, которыя съ такой, по ея мнѣнію, адской предусмотрительностью спрятали устроители пожара.

Что это былъ поджогъ—никто, конечно, не сомнѣвался. Случайное совпаденіе казалось всѣмъ невѣроятнымъ.

Но пожаръ не остановилъ обысковъ. Ихъ тщательно, изъ квартиры въ квартиру, производила другая часть прибывшихъ полицейскихъ и жандармскихъ силъ: въ казенныхъ номерахъ, по шоссе и переулкамъ, на Выселкахъ—всюду, гдѣ только жили студенты.

Въ „казенкѣ“ (казенныхъ номерахъ) печи особенно интересовали обыскивающихъ. Въ убогую комнату вносили лѣстницу, и опытный жандармскій унтеръ лѣзъ по ней до потолка, извлекая съ верхней площадки печи,

не доходившей до потолка, старыя коробки изъ-подъ сардинокъ, бутылки, синюю обертку стеариновыхъ свѣчей, кожу отъ колбасы, иногда сношенные штиблеты или калоши, старые переплеты, скорлупы яицъ, накоплавшіеся здѣсь, подъ толстымъ слоемъ пыли, видимо, десятилѣтіями.

Съ такой же тщательностью осматривались дымоходы, выюшки, топки, полы, шкапы, столы, матрацы, гдѣ не премѣнно предполагались потайные ящики и какіе-нибудь запретныя „склады“.

Владѣльцы обшаренныхъ квартиръ обычно лишались мелочи, хранившейся въ столѣ или подъ подушкой, часто—часовъ, чаю, сахару, табаку. И о пропажѣ этихъ драгоценностей заявляли жандармскимъ или полицейскимъ офицерамъ. Но они лишь пожимали плечами и просили „не мѣшать“. На жалобы не обращалось никакого вниманія.

Такъ, частью въ отсутствіи хозяевъ, уѣхавшихъ въ Москву или работавшихъ на пожарѣ, были просмотрѣны и прощупаны рѣшительно всѣ квартиры учащихся.

На одной изъ нихъ пріютился случайно заѣхавшій политическій бѣглець, скрывшійся во время процесса 193-хъ, къ которому онъ привлекался,—Анатолій Ивановичъ Фаресовъ, прозванный за благолѣпную внѣшность, напоминавшую модели для суздальскихъ богомазовъ, *иконой*.

Какъ давно скрывающійся „нелегальный“, Фаресовъ, разумѣется, былъ „востеръ на ухо“, привыкши за многіе годы скитальчества спать постоянно насторожѣ.

„Икона“, въ ожиданіи амністіи, или событій, жилъ по подложному виду, проводя гдѣ день, гдѣ ночь—больше вокругъ Москвы, особенно же—въ Смоленской губерніи, гдѣ у „добрыхъ людей“ устроилъ и для другихъ такихъ же невольныхъ „бездомниковъ“ не мало надежныхъ пріютовъ.

Изрѣдка „за новостями“ заѣзжалъ онъ и въ академию къ пріятелямъ, которыхъ у него, благодаря общительному характеру и почетному званію „нелегальнаго“, было не мало.

Въ роковую ночь онъ во-время покинулъ квартиру, гдѣ собирался спать, встревоженный набатомъ и необычнымъ движеніемъ извозчиковъ съ полицейскими.

Очевидно, надо было удирать изъ Разумовскаго обходными путями, которые онъ зналъ въ совершенствѣ.

Но въ какомъ бы направленіи онъ ни шелъ, вездѣ ему по пути попадались сторожевыя цѣпи полиціи или кордоны жандармовъ, которыхъ онъ привычнымъ глазомъ опытнаго охотника замѣчалъ еще издали.

Оставалась одна надежда—бѣжать на пожаръ, а оттуда съ возвращающимися толпами народа пробраться во Владыкино, Михалково, или въ Москву.

На пожарѣ онъ старательно растаскивалъ головешки, качалъ воду у машины и заслужилъ даже поощреніе отъ околоточнаго, съ которымъ, какъ и со становымъ, вскорѣ вступилъ въ степенныя бесѣды.

Но уйти съ толпой, какъ онъ рассчитывалъ, не удалось. Люди таяли, исчезая какъ-то сразу въ темнотѣ, поодиночкѣ. Пожарище между тѣмъ догорало. Оставаться здѣсь становилось неловко и подозрительно.

„Икона“ рѣшилъ пойти въ Москву „на ура“—прямой дорогой, по большому шоссе.

Обыски въ это время уже окончились. Конные кордоны и цѣпи городскихъ снимались. Ему попалась какая-то подвода съ рабочими, ѣхавшая въ Москву. Къ нимъ онъ и пристроился, благополучно избѣжавъ ареста и неминуемой ссылки въ Сибирь.

Но другой такой же „нелегальный“, Л. М. Преображенскій, заѣхавшій въ эту ночь случайно въ квартиру І. В. Иллинига былъ менѣе счастливъ.

Его арестовали, но тотчасъ же смутились. У него былъ паспортъ варшавскаго судебнаго слѣдователя Пе-

термана. Начальство долго колебалось и извинялось, тѣмъ болѣе, что онъ держалъ себя солидно, ссылаясь на законъ, ограждающій личность слѣдователя, грозилъ, что будетъ „жаловаться и подниметь скандалъ“.

Одно время совсѣмъ было рѣшили его не брать съ собою. Но потомъ полицейская подозрительность взяла верхъ: „А вдругъ это важный преступникъ какой-нибудь?“

Его не рѣшились объявить арестованнымъ, но попросили только „сѣздить съ офицеромъ въ жандармское управленіе—удостовериться впредь до справокъ“.

Преображенскій весело сказалъ друзьямъ „до свиданья“, пожалъ руки и гордо сѣлъ первымъ на извозчика.

— Въ такомъ случаѣ ѣдемъ поскорѣе!—дѣловито и внушительно заявилъ онъ.

Съ нимъ уѣлся ротмистръ.

Весь грандіозный, небывалый обыскъ полицейскимъ не далъ никакихъ трофеевъ, кромѣ указанной маленькой „военной добычи“ городскихъ.

По отсутствію чего-либо компрометирующаго—никого изъ студентовъ даже не арестовали.

Петербургская легенда рушилась.

„Подозрительнымъ“ оставался лишь пожаръ.

Но его причины, постепенное тлѣніе загорѣвшейся въ эту роковую ночь балки и потолка отъ треснувшей печи, выяснило во всѣхъ подробностяхъ слѣдствіе.

Во время пожара погибло много имущества жильцовъ, цѣнныя коллекціи, приборы и вся рукописная диссертация профессора Фаддѣева—плоды всей его пятнадцатилѣтней научной дѣятельности.



XXIII.

Планы освобожденія Преображенскаго. Высылка въ Курскъ.

Съ арестомъ Преображенскаго чернопередѣльцы теряли цѣннаго, выдающагося вождя.

Его рѣшено было освободить какой бы то ни было цѣной. Помочь въ расходахъ вызвалась та самая свѣтская милая барышня, которая почти перестала скрывать свои горячія симпатіи къ нему.

Продержавъ „Петермана“ въ жандармскомъ почти день, „они“ получили изъ Варшавы какіе-то сбивчивые и неясные отвѣты.

Изъ осторожности, при всякихъ извиненіяхъ, ему предложили временное „гостепріимство“ въ Пречистенскомъ полицейскомъ домѣ.

Найденная при немъ записная книжка съ шифрованными адресами особенно побудила къ такой мѣрѣ.

„Зачѣмъ бы слѣдователю прибѣгать къ шифру да еще скрывать ключъ его отъ начальства?“ думали жандармы.

Это казалось подозрительнымъ. „Самъ“ (жандармскій генераль) рѣшилъ взять арестъ этого судебного чина на свою отвѣтственность.

Изъ Петербурга, на посланные телеграфные запросы—„какъ быть?“, послѣдовалъ совѣтъ—„задержать“ впредь до выясненія личности.

Преображенскаго - Петермана водворили въ самой просторной камерѣ, ни въ чемъ не стѣсняли и возили ежедневно въ каретѣ на допросъ подъ усиленнымъ конвоемъ жандармовъ.

Жандармское чутье угадывало виднаго революціоннаго дѣятеля. Но рѣшительно никакихъ фактовъ противъ него не было. Снятая, весьма не похожая, полицейская фотографія, разосланная въ всѣ концы Россіи, тоже не давала ни свидѣтелей, которые знали бы про него хоть что-нибудь, ни уликъ.

Выяснилось лишь одно, что онъ не Петерманъ. Официальное увѣдомленіе о полномъ несходствѣ физіономіи отъ прокурора и предсѣдателя варшавскаго суда давало въ руки жандармскаго управленія вѣское основаніе для подозрѣній и продолженія ареста.

Черезъ три дня послѣ задержанія Преображенскаго мы уже завязали съ нимъ правильныя сношенія. Въ тюрьмѣ нашлись друзья изъ стражи. А трешницы и пятерки сдѣлали ихъ весьма аккуратными.

Сначала онъ выражалъ твердую надежду, что его выпустятъ „на-дняхъ“.

Потомъ вѣсти шли болѣе мрачныя. А послѣ снятія съ него фотографіи онъ началъ высказывать даже опасенія, что его революціонное прошлое, повидимому, раскроютъ и тогда—„плохо“.

Медлить съ освобожденіемъ, очевидно, было нельзя, тѣмъ болѣе, что его каждый день могли перевести въ одну изъ башенъ Бутырокъ или въ Петербургъ, въ предварилку, или петропавловку.

Московскій центральный кружокъ чернопередѣльцевъ, въ который входила, между прочимъ, и часть петровскаго „четвертака“, рѣшилъ обсудить и выбрать лучшіе планы освобожденія.

Собралось насъ довольно многочисленное общество—человѣкъ двадцать. А такія сборища были уже неудобны

для „конспиративокъ“, которыя всѣ берегли, всячески предупреждая возможные подозрѣнія на нихъ.

Поэтому сходились всегда въ дешевыхъ трактирахъ, особенно въ такихъ, гдѣ сборища извозчиковъ, приказчиковъ, артелей мастеровыхъ и иной публики были дѣломъ обычнымъ, къ которому всѣ привыкли.

Выяснилось, что лучшихъ плановъ освобожденія Преображенскаго имѣется два.

Первый состоялъ въ томъ, чтобы, зная послѣдній исходящій номеръ и пароль жандармскаго управленія на извѣстный день, явиться въ Пречистенскую часть, взять его подъ расписку, якобы для допроса, и увезти.

Помочь въ немъ брался одинъ изъ „сочувствующихъ“ писарей и спропагандированный жандармскій младшій унтеръ.

Планъ былъ простъ. Но успѣхъ зависѣлъ не отъ насъ, а отъ двухъ не вполне надежныхъ и неопытныхъ союзниковъ, а главное—отъ возможности (по случайному совпаденію) одновременной присылки за Преображенскимъ, отмѣченнымъ „особою важной“, *настоящихъ* жандармовъ.

И то и другое смущало насъ.

Другой планъ требовалъ только личной самоотверженности, въ которой среди насъ недостатка никогда не было.

Надо было въ костюмахъ жандармскаго офицера и солдатъ сдѣлать вооруженное нападеніе на карету и конвой, везущій Преображенскаго къ допросу.

Въ этомъ планѣ всѣ шансы были на сторонѣ нападающихъ.

Постовые городовые, очевидно, были бы смущены столкновеніемъ жандармовъ и, не зная, кого поддерживать, заняли бы выжидательное положеніе.

Конвоиры Преображенскаго были почти безопасны, такъ какъ на нашей сторонѣ, кромѣ численнаго превосходства, было бы главное преимущество нападающаго—иниціатива.

Мы должны были ихъ обезоружить и, въ крайнемъ случаѣ, легко ранить въ руки, раньше чѣмъ они могли бы произвести хоть одинъ выстрѣлъ.

Телефоновъ тогда еще не было. Городовые были вооружены лишь негодными „селедками“ — пашками. Преображенскій долженъ былъ успѣть скрыться съ мнимымъ конвоемъ или въ одиночку, прежде чѣмъ полиція сообразила бы, что ей дѣлать.

Опасность угрожала лишь костюмированнымъ коннымъ жандармамъ, которымъ трудно было бы днемъ быстро разѣхаться въ разныя стороны, бросить лошадей на извозчичьихъ дворахъ и скрыть за собой незамѣтно слѣды.

Тѣ же, которые должны были ѣхать тоже въ жандармскихъ мундирахъ, но на извозчикахъ (однимъ изъ нихъ предполагался уже извѣстный читателямъ крестьянинъ с. Владыкина Филиппъ Михайлычъ), очевидно, легко могли „затеряться“ и переодѣться въ заранѣе намѣченныхъ квартирахъ.

Этотъ планъ былъ надежнѣе, ибо зависѣлъ болѣе отъ выдержки и смѣлости „своихъ“. На немъ и остановились.

Тотчасъ начали заготовлять мундиры, амуницію, вооруженіе, подыскивать подходящихъ жандармскихъ, караковыхъ коней и подучаться военнымъ приемамъ.

Среди участниковъ плана освобожденія двое были настоящими офицерами, а остальные—отличные стрѣлки, какъ охотники, одни—отбывшіе уже военную службу, другіе—окончившіе военныя гимназій, а слѣдовательно, знающіе военныя приемы, прошедшіе лагерные сборы и т. д.

Николай Щедринъ ради этого „дѣла“, которому онъ придавалъ серьезное значеніе, отсрочилъ свой отъѣздъ въ Харьковъ и былъ душой всего предпріятія освобожденія.

Когда почти все было уже готово, отъ Преображенскаго, знавшаго про эти планы, была получена записка:

„Они ничего не знают. Рѣшилъ открыть свою настоящую фамилію, которая ничѣмъ не скомпрометирована, ибо я, вступивъ на революціонный путь, тотчасъ же сталъ нелегальнымъ. Какъ я понимаю положеніе, самый большой рискъ—административная ссылка; бѣжать оттуда сумѣю, конечно, и собственными силами. Планъ показаній обдумалъ. Всякія попытки освобожденія прошу отсрочить, ожидая отъ меня вѣстей. Левъ“.

Черезъ нѣкоторое время онъ вновь сообщилъ два слова: „Положеніе неопредѣленное“.

Кружокъ снова занялся подготовкой, установилъ дежурства, поддерживалъ негласныя связи и дружбу съ жандармскими писарями и былъ вообще начеку.

Такъ въ напряженномъ ожиданіи прошло нѣсколько томительныхъ недѣль.

Арестованную въ петербургской тайной типографіи Е. П. Дурново, благодаря огромнымъ связямъ, удалось взять на поруки отцу, подъ залогъ десяти тысячъ. Вскорѣ она эмигрировала за границу, въ Швейцарію.

Преображенскаго продержали еще нѣсколько недѣль и по полному отсутствію уликъ рѣшили, за прожительство по чужому виду, сослать административно на родину, въ Курскъ, подъ гласный надзоръ полиціи.

Всѣ приготовленія и планы освобожденія оказались ненужными.

У сосланнаго домой Преображенскаго открылись несомнѣнные признаки скоротечной чахотки — результатъ той нервной, кипучей жизни, которой онъ жилъ много лѣтъ безъ отдыха.

Черезъ годъ онъ медленно, какъ чистая снѣжинка, упавшая съ неба, растаялъ.



XXIV.

Смерть Черкасова.—Дейчъ и Стефановичъ.— Помощь начальника секретнаго отдѣленія Йордана.

Я былъ въ имѣніи при селѣ Перевлѣсѣ, Пронскаго уѣзда, Рязанской губерніи, когда въ 1880 году получилъ телеграмму, что Черкасовъ серьезно боленъ.

Гавріилъ Черкасовъ былъ моимъ самымъ близкимъ другомъ, какого я уже не имѣлъ послѣ и товарищемъ, начиная съ горнаго училища, потомъ — военной гимназіи и академіи.

Я засталъ его во второй половинѣ тяжелой формы брюшного тифа въ меблированныхъ комнатахъ въ домѣ Сазикова, на Тверской.

Первоначально пользовавшій его академическій врачъ, акушеръ Готвальдъ, какъ оказывается, не распозналъ во-время тифа, не назначилъ соотвѣтствующаго лѣченія и діеты, не положилъ его въ постель, а пичкалъ всякой дрянью, зря изнузивъ организмъ.

Тотчасъ же пригласили лучшаго спеціалиста по внутреннимъ болѣзнямъ, профессора Остроумова, который явился съ ассистентомъ Ансеровымъ; его и просили взять наблюденіе за больнымъ.

Черкасовъ былъ популяренъ въ Москвѣ. Денегъ никто не бралъ ни копейки; уходъ былъ установленъ правильный, дежурство устроили непрерывное.

Наиболѣе аккуратными братьями милосердія были мы съ Иннокентіемъ Михайловичемъ Субботинымъ *), а сестрами—курсистки и особенно близкая пріятельница Черкасова—А. С. Рѣщикова.

Мельчайшія предписанія Остроумова и Ансерова исполнялись пунктуально. Надзоръ былъ тщательный, клинический.

Но высокая температура упорно держалась. Сердце замѣтно слабѣло, предупредить черныхъ пролежней мы не могли.

Черкасовъ почти никого не узнавалъ. Говорилъ еле слышнымъ шопотомъ. Ничѣмъ не интересовался. Постоянно находился въ забытіи, бредилъ или метался. Силы, несмотря на искусственное питаніе и возбудители, падали съ каждымъ днемъ.

Прошло уже болѣе недѣли съ моего пріѣзда и начала серьезнаго лѣченія, а положеніе больного не только не улучшалось, а становилось все болѣе безнадежнымъ.

Въ этихъ же номерахъ поселились пріѣзжіе: бритый, похожій тогда на актера-комика, Стефановичъ и благолѣпный, съ правильными чертами лица, Дейчъ — оба уже знаменитые по извѣстному чигиринскому дѣлу.

Ожидался еще кое-кто. Представитель московской чернопредѣльной организации — Черкасовъ долженъ былъ не только участвовать на предстоящемъ общемъ съѣздѣ, но явиться докладчикомъ по многимъ вопросамъ.

Въ его рукахъ была вся подмосковная конспирація, адреса и подготовленные материалы.



Гаврила Федоровичъ
Черкасовъ.

*) Нынѣ ассистентъ проф. Сягирева и ординаторъ въ гинекологическомъ институтѣ для врачей.

А онъ лежалъ на порогѣ къ вѣчности...

Съѣзжавшіеся съ разныхъ концовъ Россіи заходили къ намъ, совѣтовались и не знали на что рѣшиться.

Разъ какъ-то вечеромъ въ мою комнату, нанятую рядомъ съ Черкасовымъ, вошелъ жандармъ и заявилъ, что „его высокоблагородіе, начальникъ секретнаго отдѣленія Іорданъ“, требуетъ меня къ себѣ немедленно.

Успѣлъ только зайти въ комнату больного, чтобы предупредить о слѣдующемъ дежурномъ вмѣсто себя и попросить сказать о моемъ неожиданномъ вызовѣ Дейчу и Стефановичу, которыхъ не было дома. Жандармъ торопился и не спускалъ съ глазъ.

Глубоко тяжело было это отрываніе меня въ послѣдніе часы отъ умирающаго друга.

Я никому не довѣрялъ и слѣдилъ за каждой дачей лѣкарства, за пульсомъ, температурой, за каждымъ компрессомъ.

Мнѣ казалось, что безъ меня все сдѣлаютъ хуже, небрежнѣе и не во-время.

Но дѣлать было нечего. Я шелъ негодуя и заготовляя по дорогѣ трогательную рѣчь, которая должна была пристыдить рьянаго полицейскаго.

Іордана я узналъ совершенно случайно, когда онъ былъ еще приставомъ въ Басманной части.

Ему было предписано произвести у меня обыскъ, и онъ явился съ понятыми и околоточнымъ въ „Сѣверную гостиницу“ въ то время, какъ мы весело ужинали съ невѣстой, извѣстной московской актрисой Авиловой, ставшей вскорѣ послѣ того моей женой.

Іорданъ отнесся къ формальности обыска весьма мягко.

Онъ любовался не разъ игрой моей официальной невѣсты въ Артистическомъ кружкѣ, а къ моей фамилии, послѣ того какъ узналъ, что я сынъ его товарища по горному корпусу „Саши“, сразу сталъ питать, „въ

память умершаго друга“ *) прямо нѣжность, которая меня даже смущала.

На прощаньи онъ очень извинялся за причиненное непріятнымъ посѣщеніемъ безпокойство, успокаивалъ, что все это „пустяки“, и выразилъ надежду, что я не откажусь сдѣлать честь своимъ посѣщеніемъ; общалъ родственныи пріемъ и недопустимость какихъ-либо „полицейскихъ“ разговоровъ.

— Что дѣлать!—говорилъ онъ, какъ бы оправдываясь въ своей службѣ.—Вѣдь курса въ корпусѣ я не кончилъ, какъ вашъ отецъ. Поневолѣ пришлось итти въ строй, въ полкъ, а оттуда, по отсутствію средствъ къ содержанію семьи—въ полицію. Но дома я не полицейскій, а только семьянинъ. Пожалуйста, заходите—не раскайтесь. Буду очень-очень радъ...

И онъ протянулъ обѣ руки и дружески потрясъ мою.

— Вѣдь вашъ отецъ „Саша“ былъ моимъ лучшимъ товарищемъ; я его любилъ крѣпче брата!—пояснялъ онъ свое расположеніе ко мнѣ.—Ваше лицо его страшно напоминаетъ, словно, опять „Сашу“ вижу, какъ живого.

Я благодарилъ, но отвѣчалъ уклончиво: рѣшилъ посоветоваться сначала съ товарищами.

Они одобрили визитъ и заявили, что знакомство это можетъ пригодиться „для дѣла“, а потому въ одно изъ воскресеній я къ нему рѣшился зайти.

Встрѣтилъ дѣйствительно полное радушіе, гостепріимство и большой тактъ. Семья оказалась весьма благовоспитанной и пріятной, особенно старшая дочка или племянница, курсистка—не помню.

Потомъ онъ получилъ повышение—въ завѣдующіе секретной частью при оберъ-полицмейстерѣ (охранныхъ еще тогда не было), и я уже своего посѣщенія не возобновлялъ: не рѣшался.

*) Отецъ умеръ въ 1871 году, въ Барнаулѣ.

И вотъ теперь, идя къ нему, я кипѣлъ злобой противъ этой „хитрой лисицы“ и готовъ былъ наговорить ему всякихъ дерзостей за грубое отрываніе меня отъ постели умирающаго.

Ждать себя онъ не заставилъ и тотчасъ же позвалъ въ свой официальный кабинетъ.

— Здравствуйте. Садитесь!

Голосъ его звучалъ сухо, почти сардито. Онъ словно командовалъ.

— Никакъ не ожидалъ, что вы зайдете такъ далеко въ революціонномъ увлеченіи,—рубилъ онъ.

Я вскинулъ на него изумленные глаза.

— Мы знаемъ, кто такой Черкасовъ и его дѣятельность. Знаемъ, что здѣсь устраивается съѣздъ и въ вашихъ номерахъ живутъ извѣстные революціонеры: Дейчъ и Стефановичъ, конечно, подъ чужими фамиліями, давно разыскиваемые.

Онъ взялъ со стола, для усиленія впечатлѣнія, очевидно, заранѣе подготовленные карточки обоихъ и показалъ мнѣ:

— Узнаете?.. Знаемъ мы и другихъ участниковъ,—продолжалъ онъ чеканить.—Мои агенты не спускаютъ ихъ съ глазъ. Къ вамъ постоянно они ходятъ, какъ и другая молодежь... Теперь скажите мнѣ: чего же вы хотите? Окончательно погубить себя? Быть сосланнымъ въ восточную Сибирь?.. Мнѣ жаль вашей матушки *), которую, впрочемъ, я не имѣю чести знать, но много про нея слышалъ лестнаго. Вѣдь она смолянка...

Я рѣшилъ его перебить:

— Черкасовъ, во-первыхъ, полупокойникъ. О немъ можно не говорить: не только его дни, а часы—сочтены. Такъ сказали пользующіе его профессоръ Остроумовъ и докторъ Ансеровъ **). Я ни на какой съѣздъ не соби-

*) Автора книги—„Причины нравственной фizioноміи женщины“ и ряда разсказовъ (Манзл).

**) Пыль профессоръ Московскаго университета.

рался, а пріѣхалъ изъ деревни по телеграммѣ—ухаживать за другомъ и товарищемъ дѣтства и юности...

— Правда ли это?

— Правда.

— И вы можете дать честное слово?

— Конечно.

— Въ такомъ случаѣ я вамъ вѣрю. Значить, мои агенты напутали. Но вѣдь вы сами-то не имѣете теперь права жить въ Москвѣ?

— Да... Но я думалъ, что причина столь уважительна. Я никуда не отхожу отъ больного. Десять дней уже не былъ на воздухѣ... Собирался къ вамъ за формальнымъ разрѣшеніемъ, но все откладывалъ, боясь отлучиться...

— Понимаю. Разрѣшеніе я вамъ даю. На сколько времени?

— Ну, хоть на двѣ недѣли еще—больше не требуется.

— Хоть на три. Но при условіи... Изъ похоронъ Черкасова не должно быть устроено демонстраціи ни въ городѣ ни на кладбищѣ. И, кромѣ того, съѣзда не должно быть! И вы мнѣ въ этомъ поможете.

— За похороны я могу обѣщать, если, впрочемъ, не воспротивятся товарищи. Но съѣздъ...

— Въ такомъ случаѣ я всѣхъ немедля арестую и васъ въ томъ числѣ.

У меня мелькнула отчаянная мысль:

— А если... если бы мнѣ удалось разстроить съѣздъ въ Москвѣ,—вы бы никого не тронули?

Онъ всталъ, прошелся нѣсколько шаговъ и установился на меня.

— А почему вамъ это важно?

— Очень просто. Вы выслѣдили всѣхъ, благодаря тому, что Черкасовъ при смерти, что всѣ ходили къ нему, въ надеждѣ получить справки, и попались въ мышеловку.

— Ну, положимъ, не совсѣмъ такъ. Но отчасти вѣрно. Что же дальше?

— Мнѣ страшно было бы тяжело, если бы на его памяти легли эти несчастья съ рядомъ людей, которыя еще можно предупредить и спасти. Зависитъ же это только отъ васъ.

— Что же вы хотите?

— Имѣть возможность предупредить кого я знаю о выѣздѣ изъ Москвы, *не называя* васъ никому на свѣтѣ, ну, хотя бы въ теченіе 20 лѣтъ, даже подъ пыткой. Это — доброе дѣло, которое я прошу васъ сдѣлать въ память моего отца и вашего друга! Дайте мнѣ возможность спокойно исполнить до конца мой долгъ товарища...

Онъ задумался, зашагалъ по комнатѣ и долго не произносилъ ни звука.

Это раздумье ободрило меня. Являлась надежда на спасеніе съѣхавшихся.

Они уѣдутъ и не будутъ дѣлать попытокъ собираться въ Москвѣ въ теченіе извѣстнаго срока, ну, года, положимъ.

— Какъ же дадутъ они такое слово?

— Я еще не знаю, дадутъ ли. Вѣдь я ни съ кѣмъ не говорилъ. Но если дадутъ, то сдержатъ. Вы знаете, что радикаламъ можно вѣрить... Позвольте на этомъ разстаться и быть у васъ завтра утромъ съ отвѣтомъ. Но прежде общайтесь мнѣ, что вы никого не тронете до моего прихода!

Я всталъ.

Онъ все еще колебался. Видимо, въ его головѣ неслись рой мыслей, соображеній и комбинацій. Совѣсть боролась съ служебнымъ долгомъ. Вены на лбу вздулись и острые, добрые глаза горѣли...

— Хорошо, — наконецъ, тихо процѣдилъ онъ: — я жду васъ ровно въ десять.

— „Архангела“ не пришлете?

— Нѣтъ, если будете аккуратны. Но дальше я оставляю за собой свободу дѣйствій.

Я горячо поблагодарилъ и откланялся. Жандармъ въ прихожей привѣтливо, какъ „своему“, подалъ мнѣ шубу.

Хотя до номеровъ было не болѣе полутораста сажень, я нанялъ извозчика.

Содержаніе бесѣды и морозный воздухъ опьянили и взбудоражили меня.

Я стремглавъ поднялся по лѣстницѣ и первымъ дѣломъ зашелъ къ Черкасову. Мнѣ показалось, что онъ сталъ дышать еще хуже.

— Ну, что? Ансеровъ былъ вечеромъ?—спросилъ я у Рѣшиковой.

— Былъ.

— Что сказалъ?

— Плохо, говоритъ,—и она, отвернувшись, быстро заморгала мокрыми рѣсницами.

У меня тоже брызнули слезы, и задержали спазмы въ глоткѣ.

Черкасовъ лежалъ уставившись въ одну точку съ темнѣющими сухими губами.

— Ну, мужайтесь!—проговорилъ я.—Что же дѣлать... Всѣмъ одинъ конецъ, рано или поздно...

Дейча и Стефановича очень встревожило не только вызовъ меня въ „секретное“, но особенно—непрерывное хожденіе за ними по пятамъ двухъ „гостей“, поселившихся въ номерахъ, подслушиванія у дверей и постоянное дежурство „гороховыхъ пальто“ у подъѣзда.

Это не предвѣщало ничего добраго.

Они уложили вещи и ждали только моего возвращенія, чтобы уѣхать.

Я сообщилъ, въ чемъ дѣло, со всѣми подробностями, умолчавъ только о томъ, что собесѣдникомъ моимъ былъ „самъ“ Иорданъ—тогдашняя гроза.

— Слово не устраивать съѣздовъ въ Москвѣ да можно, тѣмъ болѣе, что это и невозможно, разъ насъ опознали,—порѣшили они сразу.

Я подтвердилъ, что видѣлъ карточки и описалъ ихъ какъ запомнилъ.

Рѣшили посовѣтоваться съ другими пріѣзжими и медля.

Все уладилось быстро. Я имѣлъ не только коллективное слово, но и обѣщаніе не рассказывать про этотъ инцидентъ.

Самымъ труднымъ былъ способъ отъѣзда, который рѣшенъ былъ на завтра, послѣ моего визита въ „секретное“.

Уѣзжать до соглашенія при такомъ обиліи надзора было прямо невозможно: все равно арестовали бы на вокзалѣ или въ пути, и тогда дѣло было бы непоправимо.

Весь остатокъ ночи я провелъ у Черкасова, у котораго, видимо, наступила агонія.

Возбуждающія перестали поддерживать пульсъ. Еле-еле вовсе не было слышно. Лицо принимало землистое выраженіе. Температура быстро падала.

Къ утру коснѣющій языкъ уже не могъ просить „пить“. Вливали въ ротъ питье и молоко изъ больничнаго чайничка, не дожидаясь просьбъ. Но онъ не могъ глотать ихъ, и жидкость выливалась обратно.

Ровно въ десять я былъ у Иордана.

— Ну, что?—встрѣтилъ онъ меня.

— Черкасовъ въ послѣдней агоніи. Слово отъ всѣхъ получено. Дайте лишь возможность имъ уѣхать и не быть арестованными ни на вокзалахъ ни въ поѣздахъ.

— Я не играю своимъ словомъ!—отчеканилъ онъ. — И если далъ, то и сдержу... несмотря на мундиръ. Для Москвы они теперь не страшны. А я вѣдь только забочусь о спокойствіи *здѣсь*.

— Значить, вы отзовете вашихъ агентовъ?

— Это ужъ мое дѣло. А васъ я еще разъ прошу помнить весь нашъ разговоръ. Я пошелъ на ложный шагъ только изъ-за васъ. Не подведите же меня, да и себя!

— Я еще разъ подтвердилъ данное слово и отъ души поблагодарилъ.

— Этого не надо! Я сдѣлалъ это для своей души, которая вѣдь тоже взятки любить, — захихикалъ онъ вдругъ неожиданно совсѣмъ старчески-добродушно.

Осталось раскланяться.

Агонія у Черкасова длилась долго. Молодой организмъ дѣлалъ послѣднія усилія въ борьбѣ за жизнь. Лишь въ пять часовъ, когда уже начались тускляя зимнія сумерки, онъ испустилъ послѣдній вздохъ. Ночь сразу стала тоньше и заострилась. А лицо приняло торжественное и значительное выраженіе покойника.

Сыщики были убраны отовсюду около полудня. Всѣ разъѣхались по вокзаламъ въ тотъ же день, принявъ всякія мѣры предосторожности, которыя оказались напрасными: Иорданъ сдержалъ слово до конца.

Неудавшійся сѣздъ вскорѣ состоялся въ другомъ мѣстѣ, но я на немъ не былъ, такъ какъ, схоронивъ Гаврилу совсѣмъ развинтился и уѣхалъ въ деревню.



Дебогорій-Мокріевичъ въ Москвѣ.

Дебогорія-Мокріевича за организацію движенія среди казаковъ и крестьянъ на Днѣпрѣ приговорили, какъ извѣстно, къ каторгѣ.

Съ дороги онъ бѣжалъ, обмѣнявшись видомъ съ какимъ-то простофилей поселенцемъ.

Безъ денегъ, оружія, вида на жительство и знанія дороги ему пришлось испытать невѣроятныя трудности, пробираясь по тайгѣ—по этому океану сплошного, дикаго, дѣвственнаго лѣса.

Каждый день грозила смерть: отъ мѣткой пули буратовъ, охотящихся за бѣглыми изъ - за одежды, отъ преслѣдователей конвойныхъ и казаковъ, отъ лапъ медвѣдя или жала змѣи, отъ голода.

Днемъ онъ притаивался въ непроходимыхъ дебряхъ по сосѣдству сохатаго, рыси, росомахи или „мишки“, какъ лѣсной звѣрь, питаясь травами, ягодами и грибами.

А ночью по звѣздамъ пробирался на милый далекій западъ—въ Россію...

Какимъ-то чудомъ онъ дошелъ до Томска, гдѣ, наконецъ, отдохнулъ, раздобылъ денегъ и паспортъ.

Попутно онъ подсвѣжилъ здѣсь связи съ мѣстнымъ кружкомъ, вдохнулъ присущій ему запасъ неистощимой энергіи и получилъ рядъ порученій въ другіе города.

Всѣ любовались имъ и удивлялись мощи духа и неукротимости силы воли, храбрости и выносливости.

То же онъ продѣлалъ въ Перми и Казани, куда являлся не жалкимъ бѣглецомъ, а бодрымъ и властнымъ агитаторомъ чернопередѣльцемъ.

Задолго до его пріѣзда въ Москву полиція уже знала всѣ его примѣты и тщательно чрезъ переодѣтыхъ чиновъ осматривала всѣхъ пріѣзжихъ на вокзалахъ и въ гостиницахъ.

У Дебогорія былъ одинъ предательскій знакъ на лицѣ: огромная коричневая родинка на щекѣ, вытѣзавшая изъ-подъ щетинистой бороды.

Онъ собирался давно уничтожить эту „дьявольскую печать“, какъ величалъ онъ свою „родинку“, но все откладывалъ до поѣздки въ Вѣну къ опытному австрійскому специалисту, славившемуся операціями этого рода.

Поэтому, прибывъ въ первопрестольную, поневолѣ приходилось принимать всякія мѣры предосторожности: избѣгать людныхъ улицъ, встрѣчъ съ полиціей и выхода изъ дома днемъ.

Конспиративные тогда (въ 1880—81 году) сосредоточивались у Серебрякова и Логинова.

Но Дебогорій предпочелъ почему-то воспользоваться гостепріимствомъ частныхъ лицъ.

А изъ нихъ особенно облюбовалъ Золотаревыхъ, гдѣ въ радушной, простой и дружной семьѣ чувствовалъ себя какъ дома.

На свое пребываніе въ Москвѣ онъ отнюдь не смотрѣлъ просто, какъ на этапъ бѣгства по пути за границу.

Онъ вовсе не торопился добраться до безопаснаго убѣжища, а находилъ, что прежде всего обязанъ „починить“, по мѣрѣ силъ, прорѣхи сильно испортившейся тогда московской организаціи, воодушевить мѣстныхъ вождей новой энергіей и вѣрой, завязать прочныя связи, облегчить москвичамъ сношенія съ кружками, встрѣченными на пути.

Этому дѣлу, невзирая на растущую каждый день опасность, онъ рѣшилъ посвятить не менѣе мѣсяца.

И, какъ упрямый хохоль, потомокъ гетмана Острицы, онъ сдержалъ свое слово.

Дерзость его росла съ каждыѣмъ днемъ. Подъ конецъ онъ сталъ показываться даже на такихъ опасныхъ улицахъ, какъ Тверская, днемъ и разгуливалъ тихо, какъ настоящій гуляющій фланеръ.

Единственной мѣрой предосторожности, на которую онъ согласился была слѣдующая: его сопровождалъ нѣсколько поодаль, по другой сторонѣ улицы, тѣлохранитель изъ „своихъ“.

Ему были видны какъ возможные преслѣдователи сзади и спереди, такъ и всякіе знаки, которыми въ рѣшительные моменты серьезныхъ арестовъ обмѣниваются тайные и явные агенты полиціи.

Этотъ „тѣлохранитель“ время отъ времени или давалъ сигналы, что все благополучно, или—тревожные, предупреждающіе. Но все было спокойно: Дебогорія никто не обознавалъ.

Какъ-то разъ, уже подъ вечеръ, не доходя Пименова переулка по Тверской, провожатый замѣтилъ, что Дебогорія усиленно сослѣживаютъ.

Онъ едва успѣлъ дать знакъ о большой опасности, и стремглавъ бросился къ Страстному монастырю за лихачомъ.

— Какая порѣзвѣ?—небрежно спросилъ онъ у привычныхъ, избалованныхъ извозчиковъ, поджидающихъ здѣсь свои вечернія жертвы.

— На сѣрой пожалуйста! Лучшая кобылка. Призы брала. Куда прикажете?

— Къ Яру. По дорогѣ захватимъ господина.

— Слушаю-съ. Шесть рубликовъ-съ. Мигомъ домчу. На весь вечеръ оставите?

— Тамъ видно будетъ... Ну—живо!

Черезъ нѣсколько секундъ онъ летѣлъ по Тверской, вызывая у однихъ пѣшеходовъ восхищенія и зависть у другихъ—ругань.

Около Садовой еще издали показалась характерная фигура Дебогорія, который шелъ все по той же правой сторонѣ.

Преслѣдователи (ихъ было двое) подошли почти вплотную. Но, видимо, они не рѣшались на арестъ, предпочитая отойти въ менѣе людную часть Тверской и собрать побольше силъ. Впереди Дебогорія то же, несомнѣнно, шли переодѣтые агенты, которые время отъ времени довольно неловко оглядывались на него.

Очевидно, они готовились къ отчаянному вооруженному отпору и были освѣдомлены о выдающейся физической силѣ своего намѣченного плѣнника.

Чуткому привычному уху Дебогорія не нужно было предупрежденій.

Въ быстромъ топотѣ мчавшагося кровного рысака онъ сразу угадалъ спасеніе.

Приближаясь къ нему ѣхавшій велѣлъ замедлить ходъ, предупредивъ, что здѣсь придется посадить господина.

— Будьте покойны! — степенно успокоилъ лихачъ, выдававшій всякіе виды и предвкушавшій хорошій заработокъ.

Дебогорій на ходу, ловкими прыжками, вскочилъ въ пролетку, тотчасъ же выхватилъ револьверъ и направилъ его на своихъ провожатыхъ—„нянюшекъ“.

Это было дѣломъ мгновенья. Они оцѣпенѣли и временно растерялись.

А кровный призовой рысакъ уже снова несся съ прежней быстротой.

Издали слышались тревожные свистки. Но свистящіе городовые сами, повидимому, не знали, почему они поднимаютъ тревогу и кого ловятъ.

На шикарнаго лихача, который везъ по проторенной дорожкѣ обычныхъ кутилъ, никто и не думалъ обращать вниманія.

Лишь через нѣкоторое время далеко, за версту, можно было различить нѣсколько извозчиковъ, которые неслись вскачь, очевидно, съ агентами полиціи... Но добрый конь, весь въ мылѣ уже подлеталъ къ Яру.

Лихачу дали красненькую съ приказомъ немедленно ѣхать въ Альгамбру и ждать у сосѣдняго трактира, откуда онъ привезетъ „дѣвицъ“, за которыми сходить, немедленно, посыльный. Пока же можно попить чайку тамъ же.

Опять почтительное „слушаю-съ!“—и онъ тотчасъ же уѣхалъ.

Важнаго свидѣтеля не стало. Надо было, не теряя ни минуты, пробираться въ глубь парка, по возможности ни съ кѣмъ не встрѣчаясь.

Къ счастью, темнѣло. А въ этой части города, въ боковыхъ переулкахъ, фонари считались ненужной роскошью.

Черезъ сорокъ минутъ Дебогорій и его спутникъ, весело болтая, быстро шли прямой дорогой, лѣсомъ, въ Петровско-Разумовское.

Укромныхъ уголковъ для спасенія тамъ было много. Погони сюда нельзя было ожидать, такъ какъ слѣдъ былъ замеченъ хорошо.

Дебогорій добродушно шутилъ:

— Вотъ, чай, злятся теперь!.. Вѣдь совсѣмъ въ рукахъ у нихъ былъ... Ну, да это не въ первый и не въ послѣдній разъ! А ловко вы придумали,—хвалили онъ своего спасителя.

— Да вѣдь мы уже условились,—скромно возражалъ тотъ.

— Такъ-то такъ, а все же—чисто! Люблю, когда чисто выходитъ...

Послѣ этого случая Дебогорій, несмотря на всѣ уговоры, пробылъ въ Москвѣ еще болѣе недѣли.

А потомъ поѣхалъ не прямо за границу, а сперва въ Варшаву, гдѣ, по его словамъ, у него было тоже „дѣло“.

Тамъ онъ опять чуть было не попался.

Но все же въ концѣ-концовъ благополучно пробрался въ Болгарію, гдѣ, благодаря бывшему товарищу Каравелову (тогдашнему министру-президенту княжества), получилъ вскорѣ не только надежное убѣжище, но и какую-то высокую правительственную службу.

Каторжникъ въ Россіи и почетное лицо въ ея же „освобожденной“ Болгаріи—это такой контрастъ положеній, который невольно заставлялъ спрашивать себя: какъ это деспотическое, съ татарско-византійскимъ строемъ государство могло дѣйствительно дать юному княжеству не только независимость, но и конституцію?

А въ самой Россіи-„Освободительницѣ“ людей за стремленіе къ конституціи и борьбу съ самодержавіемъ вѣшали и разстрѣливали, сажали въ тюрьмы и ссылали на каторгу...

„Освободители“ русскіе завидовали „несчастной“ Болгаріи, гдѣ легли костями сотни нашихъ молодыхъ силъ—сыновъ и братьевъ.

Это ли не образчикъ человѣческой трагикомедіи, не объяснимой ни экономическимъ матеріализмомъ ни модной теоріей классовой борьбы!



XXVI.

Прасковья Ивановская.—Николай Саблинъ.

Прасковья Семеновна Ивановская, средняя изъ сестеръ, съ распадомъ „Земли и Воли“ перешла въ народовольцы и перебралась изъ Москвы въ Петербургъ.

Въ массивной, со склонностью къ ожирѣнію фигурѣ Прасковьи Семеновны, или „Паппи“, какъ ее звали въ нашихъ кружкахъ, никто бы не призналъ горячаго, стойкаго и безстрашнаго фанатика.

Блондинка. съ добрыми сѣрыми глазами, веселая, любящая шутку, она скорѣе производила впечатлѣніе будущей хорошей хозяйки, чадолубивой мамыши многочисленнаго потомства, подвижной, но ровной, съ открытымъ мягкимъ характеромъ жены—изъ тѣхъ, отъ которыхъ не сбѣгаютъ мужья, отличной работницы, умѣющей вносить всюду ладъ и миръ и держать семью въ своихъ рукахъ.

Но ея наружность обманывала.

„Паша“ была прежде всего—гражданка: сильная и властная, твердая и рѣшительная, ставившая общественную службу выше всего.

Она не знала усталости. Заражала другихъ энергіей и порывомъ. Могучая натура, съ крѣпкимъ мужицкимъ костякомъ и здоровою кровью—въ буряхъ и величайшихъ опасностяхъ находила удовлетвореніе своему кипучему здоровью и силамъ.

Народовольцы тогда (въ 1880 году) уже окончательно обособились отъ чернопередѣльцевъ и имѣли свою организацію.

Поэтому подробности дѣятельности Ивановской среди новыхъ товарищей лишь случайно и отрывочно, чрезъ общихъ друзей, доходили до нашихъ московскихъ кружковъ.

Мы знали, что она близка къ центральной организаціи, къ Желябову, Морозову, Квятковскому, Михайлову и другимъ вождямъ и вдохновителямъ революціоннаго террора, что ей даютъ порученія рискованныя и важныя, что она держится замкнуто, избѣгаетъ встрѣчъ со старыми товарищами, чтобы случайно не наскочить на сыщика и не испортить исподволь подготавливаемые планы.

П. С. Ивановская оказалась причастной и къ дѣлу 1 марта. Ее осудили на 20 лѣтъ каторги, которую она вынесла, сохранивъ всѣ силы духа, и вернулась въ Россію бодрой и мстящей.

Николай Алексѣвичъ Саблинъ, привлеченный къ процессу 193-хъ и скрывшійся до суда, наоборотъ, былъ скорѣе романтикомъ, чѣмъ революціонеромъ.

Въ Москвѣ, гдѣ онъ бѣольшую часть времени укрывался, онъ любилъ прежнее актерское пристанище „бучу-мовку“—меблированныя комнаты на углу Дмитровки и Столешникова переулка.

Многіе полицейскіе офицеры знали, что онъ — „разыскиваемый“ Николай Саблинъ, но никто его не трогалъ.

Онъ подкупалъ мягкимъ, общительнымъ, веселымъ характеромъ, не дуракъ былъ выпить при случаѣ, провести вечеръ за картишками, сыграть въ любительскомъ спектаклѣ въ „Секретаревкѣ“, подурачиться, поухаживать.

У него были три брата: полковникъ Екатеринославскаго полка, извѣстный статистикъ и пайщикъ „Русскихъ Вѣдомостей“ Михаилъ Алексѣвичъ и присяжный

повѣренный Александръ Алексѣевичъ, перешедшій потомъ, послѣ гибели брата въ товарищи прокурора. Со всѣми у него были добрыя, братскія отношенія.

За нѣсколько недѣль до 1 марта 1881 года, пріѣхавъ по личнымъ дѣламъ изъ деревни въ Москву, я случайно встрѣтился съ Николаемъ Алексѣевичемъ.

Онъ жаловался, что „усталъ“, что неумоготу дальше его „заячья жизнь“, что его „тянетъ въ деревню“, но онъ будто бы не представляетъ, о чемъ онъ будетъ говорить съ мужиками, такъ какъ „обгорожанился“ и крестьянство знаетъ плохо.

Вообще онъ имѣлъ видъ человѣка выбитаго изъ колеи, не знающаго, что съ нимъ будетъ завтра.

Пошли вмѣстѣ обѣдать въ дешевый ресторанчикъ, посѣщаемый актерской богемой, — „Палермо“, на Петровкѣ.

— Но вѣдь ты же остался чернопередѣльцемъ?—спросилъ я его.

— Да... по названію... Вѣдь въ сущности чернопередѣльчество разладилось. Теперь у всѣхъ надежда только на террористовъ. Какая правильная работа въ деревнѣ возможна при растущемъ произволѣ и репрессіяхъ? А за „хитрую механику“ въ Сибирь итти вѣдь глупо, глупо! Не правда ли?.. А ты гдѣ?

— Я въ деревнѣ.

— Занимаешься революціей?

— Нѣтъ.

— А чѣмъ же?

— Живу отъ хозяйства, главнымъ образомъ, отъ огорода. Женился. Имѣю пріемную дочку. Учю ребятъ малыхъ, а также взрослыхъ и бородатыхъ, лѣчу, какъ заправскій врачъ. Теперь вотъ голодныхъ кормлю. Пищу въ „Русское Богатство“ деревенскія „злобы“. Наблюдаю жизнь, которую совсѣмъ не зналъ. Учусь самъ. Америку каждый день открываю.

— А становой что?

— Со становымъ лажу и пью водку. Теперь совѣмъ не кажусь ему страшнымъ... Самъ сказалъ: „А я, говорить, революціонеровъ совѣмъ другими вообразалъ себя“...

— Ты что же подъ гласнымъ надзоромъ?

— Да... Безъ права выѣзда изъ имѣнья. Но изрѣдка можно отпрашиваться въ Рязань и Москву. Не пускаютъ только въ Питеръ и Кіевъ.

— А теперь ты какъ здѣсь?

— Отпросился въ Рязань. Да вотъ махнулъ на одинъ день въ Москву... Становой заявилъ: „Вы меня не подводите, а я уже знаю“... при этомъ онъ растопырилъ пальцы и закрылъ ими глаза.

— Слабая конституція!—рѣшилъ Саблинъ.—Сегодня мирволить, а завтра, съ перепоя, сдуру или проигравшись въ карты, и донесетъ... Нѣтъ я боюсь деревни... Нечего мнѣ тамъ дѣлать!

— Почему?

— Не знаю я крестьянина. А пока узнаешь да обглядишься—тебя и сцапаютъ. Да и не тянетъ меня къ простому культуртрегерству. А до настоящаго революціоннаго дѣла въ деревнѣ еще далеко... десятки лѣтъ пройдутъ. Прежде надо школы завести, грамотѣ обучить, книжку хорошую привить, мысль деревни заставить работать на политическія темы... Тѣма вѣдь у насъ египетская!..

— Что же ты рѣшилъ?

— Пойти за сильными, вотъ какъ Паша... Да и сжечь себя въ струѣ кислорода. Можетъ-быть, пользу хоть какую-нибудь принесу...

— Но вѣдь ты же не вѣришь въ терроръ?.. Былъ всегда ярымъ народникомъ?..

— Да. Но что же дѣлать? Пойми: я *лишній* чело-вѣкъ—ни къ тѣмъ ни къ семъ... *Въ себя* не вѣрю, въ программы—не вѣрю, въ скорую революцію—не вѣрю... Не нытикомъ же сдѣлаться?.. А ужъ коли стрѣляться, то хоть съ толкомъ—„до за до“.

Кончили объдать. Спросили пива.

— Я страшно радъ, что со старымъ товарищемъ встрѣтился передъ рѣшеніемъ. А важное оно: корабль свой сжигаю... Полная ликвидація!..

При его душевномъ состояніи бесполезно было убѣждать его оставаться чернопредѣльцемъ, вѣрить, надеяться...

Да и такія слова не шли съ языка. Я самъ жилъ на „птичьемъ положеніи“, „милостью становаго“, отъ котораго всецѣло зависѣло рядомъ мелкихъ придирокъ сдѣлать мою жизнь несносной. Революціоннымъ дѣятелемъ я тоже, конечно, не могъ себя считать болѣе.

Саблинъ первый перебилъ молчаніе.

— Мы были и остаемся идеалистами, мечтателями, страстными художниками новой жизни. А сегодня нужны *святые* впрокъ. Какъ вотъ лѣсъ разводятъ за границей: дѣдъ насаждаетъ, но не для себя и даже не для дѣтей, а для внуковъ. Огромная культурная поддержка! Сегодня, можетъ-быть, нужнѣе *просто* учителя, а не нашъ братъ—не поэты и пророки революціи. Она невозможна, пока ради нея не двинутся массы, пока она *не созрѣетъ*. Надо имѣть мужество въ этомъ признаться! Надо самому себѣ сказать: идеалы-то хороши, да не по времени. И ты самъ пока никчемушный... А если силы есть, брось весь революціонный багажъ и становись просто учителемъ, пиши книжки, устраивай читальни, лекціи, бесѣды, — словомъ, расшевеливай мужицкую голову... Но ничего *не навязывай*! Это непрочно, ненадежно. Пусть сами доходятъ до всего своимъ умомъ. А ты только давай знанія, матеріалъ...

Онъ залпомъ выпилъ кружку:

— Довольно обманываться! Теперь мы отставные революціонеры или, пожалуй, —ха-ха-ха!—*запасные*, не болѣе... Послѣдняя карта у террористовъ... И если она будетъ бита, ну, тогда...

— Что?..

— Опять на много-много, лѣтъ все замретъ. Опять придется начинать все сызнава. Кружки саморазвитія... Споры о теоріяхъ... Организацию „сознательныхъ рабочихъ и крестьянъ“... Попытки либераловъ торговаться съ правительствомъ и предупредить кровавыя столкновенія... Все повторится, какъ и въ другихъ странахъ. И когда нарастетъ вновъ революціонная волна, — тотъ девятый валъ, который смоетъ старый строй, — никто не предскажетъ.

— Значить, ты рѣшилъ итти къ террористамъ?

— Да. Я иду ставить свою послѣднюю карту. Ъду въ Питеръ. Паша стыдитъ и зоветъ. Рѣшаюсь, *не вѣря* въ ихъ дѣло и ни на что не надѣясь.

— И это безповоротно.

— Да, я это выстрадалъ. Сжился съ такимъ исходомъ. Иного выбора нѣтъ... Цѣплялся было за мысли о личномъ благополучіи, да нѣтъ—не могу: пересталъ бы себя уважать! Нелегальный и семья—вѣдь это чортъ знаетъ что! Это тяжкое преступленіе съ заранѣе обдуманнѣмъ намѣреніемъ... Встрѣчаемся, *навѣрное* (онъ произнесъ это слово особенно значительно, съ удареніемъ), въ послѣдній разъ. Поцѣлуемся же крѣпко по старорусскому обычаю! Не поминай лихомъ! Скажи при случаѣ товарищамъ два слова въ мое оправданіе...

Онъ всталъ, сжалъ руку и горячо, торжественно расцѣловался.

Въ глазахъ мелькнула слезинка.

Онъ бросилъ на столъ рубль и просилъ расчитаться за нашу скромную трапезу.

— Я долженъ выйти одинъ, — твердо заявилъ онъ и сегодня же собратъся дальше.

Поцѣловались еще разъ... И онъ ушелъ не оглядываясь.

Черезъ три недѣли въ деревнѣ я прочиталъ въ газетахъ, что среднихъ лѣтъ мужчина, оказавшійся извѣстнымъ государственнымъ преступникомъ Н. А. Саблинымъ

застрѣлился въ квартирѣ Геси Гельфманъ, гдѣ помѣщалась лабораторія взрывчатыхъ веществъ Кибальтича, въ моментъ входа туда полиціи, 2 марта“.

Въ рѣшительную минуту онъ оставилъ, видимо, мысль о вооруженномъ сопротивленіи—„до за до“, не захотѣлъ дожидаться комедіи суда, съ заранѣе извѣстнымъ приговоромъ...

Въ кружкахъ говорили, что онъ давно и безнадежно любилъ Прасковью Семеновну Ивановскую.

Но заикаться ей о своихъ чувствахъ онъ считалъ „оскорбленіемъ святыни“.



XXVII.

Въ разныя стороны.

Правильная облава, которая въ теченіе шестнадцати лѣтъ велась на Александра II, закончилась 1 марта 1881 года бомбами Рысакова и Гриневицкаго.

Энергія и избрѣтательность народовольцевъ—террористовъ—росли по мѣрѣ неудачъ и гибели отдѣльных лицъ и цѣлыхъ кружковъ.

Они сосредоточили на истребленіи главы государства всѣ силы, твердо надѣясь этой смертью принести благо Россіи и вѣря въ неизбѣжность переменъ политическаго строя, подъ угрозой новыхъ такихъ же попытокъ и революціоннаго подъема.

Покушенія одинъ на одинъ, какъ Каракозова, Брезовскаго и Соловьева, смѣнились подкопами на желѣзныхъ дорогахъ, въ родѣ попытки Гартмана подъ Москвою или близъ ст. Лозовая по Севастопольской линіи. Кобозевъ, Сухановъ и др. готовили мину въ ожиданіи царскаго проѣзда по Садовой, въ Петербургѣ. Были покушенія и заговоры изъ офицерской среды. Безумно смѣло задуманъ и выполненъ былъ взрывъ въ самомъ Зимнемъ дворцѣ Халтуринымъ...

Наконецъ, послѣ 17 покушеній, цѣль была достигнута цѣпью бомбометателей, изъ которыхъ одинъ (Гриневицкій) былъ убитъ на мѣстѣ, другой (Рысаковъ)—тутъ же арестованъ, а остальные участники (Кибальтичъ, Желя-

бовъ, Перовская, А. Михайловъ, Квятковскій, Гельфманъ, Фридензонъ и др.) были задержаны впоследствии.

Народовольцы глубоко были убѣждены, что, отдавая самоотверженно свои молодые жизни родинѣ, безъ надежды на спасеніе, они избавятъ Россію отъ самодержавія.

Они не надѣялись и не считались съ тѣмъ, что подъ впечатлѣніемъ растущаго недовольства и революціонныхъ покушеній, Александръ II самъ первый готовъ былъ пробить брешь въ абсолютизмъ и одобрилъ уже проектъ правда, весьма „куцой“ конституціи, составленный гр. М. Т. Лорисъ-Меликовымъ, похожій на тотъ, который 20 лѣтъ назадъ, при освобожденіи крестьянъ, не удалось провести В. К. Константину Николаевичу, убѣжденному стороннику народного представительства.

Извѣрившись въ реформу сверху, пріостановленную въ послѣднія 15 лѣтъ и смѣнившуюся жестокими репрессіями, террористы полагались только на свои силы и самоотверженіе, чтобы заставить власть итти на уступки.

Мощи государства: арміи, полиціи, сыщикамъ и послушному суду, они противопоставляли только горячую вѣру въ правоту своего дѣла и личный героизмъ.

И когда планы ихъ, наконецъ, удались, и цѣль, по видимому, была достигнута,—оказалась, что она даетъ въ итогъ лишь новую полосу мрачнаго торжества полицейскому режиму.

Въ деревнѣ, въ широкихъ народныхъ массахъ, убійство „Царя-Освободителя“ произвело впечатлѣніе, обратное тому, которое ожидалось.

Крестьяне рѣшили, что Александра II убили „паны“ — дворяне и ихъ дѣти, недовольные на „мужицкаго царя“ за уничтоженіе крѣпостного права.

И долго этотъ предразсудокъ потомъ создавалъ среди крестьянъ непреодолимое предубѣжденіе противъ интеллигенціи, укрѣпляя злобу не только къ помѣщикамъ-дворянамъ, но и ко всѣмъ *не* мужикамъ, одѣвающимся въ нѣмецкое платье.

За границей это царевубійство встрѣчено было въ общемъ осужденіемъ, за исключеніемъ незначительной части радикальной прессы.

Даже среди самыхъ либеральныхъ земскихъ и народническихъ кружковъ, для которыхъ „Голосъ“ или „Отечественныя Записки“ являлись выразителями, 1 марта вызвало болѣе или менѣе искреннее порицаніе.

Чернопередѣльцы, имѣвшіе среди народовольцевъ много друзей, родныхъ и товарищей, тоже, по чисто принципиальнымъ соображеніямъ, рѣзко осуждали ихъ слѣпой фанатизмъ, шорность міровоззрѣнія, пренебреженіе народной психологіей и исторической отвѣтственностію...

Но... фактъ совершился.

Съ послѣдствіями его приходилось считаться не только революціоннымъ организаціямъ, но даже умѣреннымъ земскимъ кружкамъ, не шедшимъ далѣе мечтаній о расширеніи правъ и круга дѣйствій мѣстнаго самоуправленія, съ конституціей гдѣ-то въ туманной дали.

Земскіе столпы: кн. С. В. Волконскій, Дашковъ, А. И. Кошелевъ, были выбиты изъ колеи, лишены почвы.

Чисто культурныя начинанія, какъ школы, больницы, дѣловые негласные съѣзды, хотя бы по страховому дѣлу, заподозрѣвались и подвергались запретамъ.

Образовались общества—„Добровольной Охраны“ и „Священнаго Союза“, соперничающія съ жандармами и полиціей въ сыскѣ, усердіи, раздуваніи мнимыхъ опасностей и улавливаніи воображаемыхъ „крамольниковъ“.

Были изобрѣтены и введены положенія объ усиленной и чрезвычайной охранахъ, о полицейскомъ надзорѣ, особые суды, новые штаты полиціи общей и государственной.

Казни, аресты и особенно высылки пошли безудержные, массовые.

Вслѣдъ за процессомъ 1-го марта, быстро выросъ новый 20-ти народовольцевъ.

Людей хватали и тащили въ Сибирь, на сѣверъ въ тундры, по малѣйшимъ подозрѣніямъ, по случайнымъ доносамъ, по ничтожнымъ, непровѣреннымъ уликамъ.

Расколовшаяся, разрозненная оппозиція не могла давать и не давала никакого серьезнаго отпора.

1 марта давило всѣхъ своимъ кровавымъ кошмаромъ.

Погибшій императоръ приобрѣталъ ореолъ „мученичества“. Малѣйшая критика „священныхъ основъ“ и абсолютизма вызывали подозрѣнія и обвиненія въ сочувствіи царубійству.

Наступило страшное время крушенія политическихъ и соціальныхъ плановъ, травля всего живого, думающаго, честнаго, торжество участка, шпіонства, доносовъ, небывалаго административнаго произвола.

Преслѣдовались: наука, университеты, газеты, журналы, книги, земства, ученые и просвѣтительныя общества—всякое проявленіе самодѣятельности, всякая независимая мысль.

„Голосъ“, „Молва“, „Отечественныя Записки“, „Русская Рѣчь“, „Нашъ Вѣкъ“ и десятки другихъ изданій закрылись. Книги арестовывались и сжигались, а авторовъ сажали въ тюрьмы и высылали.

Даже М. Е. Салтыкова (Щедрина) и Г. И. Успенскаго не постѣснялись обыскать, а послѣдняго—и выслать...

Приостановилось всякое развитіе общественной жизни, всѣ, даже самые невинные, почины.

Гоненію начали подвергаться мировые суды и окружные, институтъ присяжныхъ, судебные уставы, земства, городское самоуправленіе—всѣ предыдущія преобразованія.

Простое упоминаніе объ эпохѣ „великихъ реформъ“ и началѣ царствованія Александръ II встрѣчались какъ демонстраціи, какъ оскорбленіе новаго царствованія: въ нихъ видѣли обидные намеки. Цензура запрещала не только дѣлать сравненія, но даже упоминать о недавнемъ прошломъ.

Воскресла аракчеевщина и казарменный, нивелирующій, мстящій духъ Николая I.

Совѣтчики въ родѣ гр. Д. А. Толстого, К. П. Побѣдоносцева, М. Н. Каткова выставлялись какъ „спасители отечества“. Имъ вѣрили. Ихъ слушались. Они стали государственными кормчими. Вновь выдвинута сословность, начавшая уже сглаживаться. И дворянство опять стало руководящимъ и вліятельнымъ. За отсутствіемъ настоящей политической жизни, мысли цѣплялись за легенды, за сплетни и розсказни, которые сулили просвѣтъ изъ тяжкихъ сумерекъ надвинувшихся на Россію.

Такъ, между прочимъ, генералу М. Д. Скобелеву приписывался смѣлый планъ государственнаго переворота, на который онъ звалъ гр. М. Т. Лорисъ-Меликова.

Его неожиданную смерть въ гостиницѣ „Англія“, въ Москвѣ, стоустая молва упорно приписывала умышленному убійству, подготовленному дворцовыми сферами, чтобы избавиться отъ дерзкаго политикана, имѣвшаго огромный вѣсъ и вліяніе въ арміи, собиравшагося *заставитъ* ввести конституцію и присягнуть ей.

Подъ гнетомъ административнаго и полицейскаго прессы и небывалаго сыска рушились организациі и надежды... Люди уходили въ свои норы, заползали въ свои раковины, никому не довѣряя, съеживаясь до поры, до времени, предпочитая томительно выжидать, чѣмъ безполезно гибнуть.

Какое глубокое потрясеніе произвела эта эпоха на-
раставшихъ репрессій на наиболѣе чуткихъ людей, можно судить, между прочимъ, по небольшому примѣру нашего послѣдняго кружка въ Москвѣ, замѣнившаго прежній „четвертакъ“.

Изъ него умерли: Пругавинъ Алексѣй, Черкасовъ Гавріилъ, Познеръ, Преображенскій.

Сошли съ ума и умерли: Пругавинъ Викторъ, Люцеровъ Александръ.

Покончили жизнь самоубійствомъ: Деревщиковъ Николай, Ламони, Шрамковъ Алексѣй, Зиновьевъ Павель, Титовъ Михайлъ, Саблинъ Николай.

А всего одиннадцать смертей, сумасшествій и самоубійствъ изъ кружка въ 20 лицъ, т.-е. *больше половины*.

Становилось страшно жить... Переносить ужасы и неправду дѣйствительности послѣ идеаловъ, на которыхъ воспитывалась радикальная молодежь, было неумоготу.

Люди искали убѣжища, свѣтскаго монастыря, а часть— просто тюрьмы и смерти, чтобы только быть *вне* жизни, чтобы уйти отъ ея давящаго гнета.

Въ этой атмосферѣ забитости и произвола подготавливались послѣдующія историческія событія: 9 января и Мукденъ, массовые разстрѣлы и Цусима, погромы и вооруженныя возстанія...

Лишь наиболѣе упорные, уравновѣшенные и приспособленные продолжали настойчиво искать зацѣпокъ и новыхъ путей дѣланія.

Одни углублялись въ науку и изслѣдованія, другіе шли на тяжкую службу земскаго врача, учителя, журналиста. Многіе ухватывались за представлявшуюся возможность всесторонняго изученія родины при помощи статистики, почвенно-геологическихъ, этнографическихъ и т. п. изслѣдованій.

Такихъ особенно много было среди петровцевъ, не мирившихся съ перспективой службы у помѣщиковъ и искавшихъ широкой общественной работы.

Радикалы разбредались въ разныя стороны, унося съ собою разбитыя надежды и программы, которыя вдругъ стали чуждыми и никому ненужными...

Но чѣмъ сильнѣе билъ правительственный молотъ, тѣмъ болѣе стремился онъ сплющить и обезличить Россию, тѣмъ прочнѣе вновь нарастало стремленіе свергнуть историческое ярмо—русское самодержавіе.

Радикалы разбредались... Но—съ сѣменами здоровой оппозиціи, съ затаенной рѣшимостью вернуться вновь на поле битвы съ готовыми арміями просвѣтленныхъ крестьянъ и понявшихъ свое положеніе рабочихъ.

„Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое!“—складывался новый боевой лозунгъ. „Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь!“—звалъ международный рабочій социализмъ.

Жизнь подвергла теоріи страшнымъ испытаніямъ. Но „Земля и Воля“ оставались запретными и завѣтными мыслями милліоновъ крестьянства.

Испытанія и удары закаляли людей, заставляя искать новые пути, новый языкъ для общенія съ народомъ, новыя формулы, новыхъ друзей и союзниковъ.

Русская революція, временно стихнувъ, вступала въ новый фазисъ, развертывая изъ глубокихъ нѣдръ народныхъ и рядовъ передовой молодежи новыя силы...

Переживъ увлеченіе „толстовствомъ“, неомарксизмомъ, земствомъ, изслѣдованіями и культуртрегерствомъ, — старые посѣвы теперь всходятъ.

Слабыя силы интеллигенціи уже подкрѣплены могучимъ порывомъ рабочихъ и крестьянства.

1905 и 1906 года показали, что революціонное движеніе охватило всѣ слои, всю Россію.

Оно еще не слилось окончательно въ общій потокъ. Оно еще не организовалось. Но непреодолимое стремленіе къ освобожденію соединяло уже въ октябрьскіе дни, въ общій напоръ—буржуазію и пролетаріатъ съ безсословной классовой интеллигенціей.

„Такъ дальше жить нельзя!“—пронесся по Руси властный призывъ два года назадъ.

На немъ сошлись всѣ „обиженные и обремененные“, чтобы добиться лучшаго, человѣческаго существованія, чтобы вырвать власть отъ бюрократіи и передать ее народу.

И кто знаетъ: не раздѣляй оппозиціонныя и революціонныя организациі партійная нетерпимость, тактическое разномысліе и доктринерство—можетъ-быть, сегодня „вѣковая стѣна“ уже рухнула бы...



